

**СИН
ТАК
СИС**



22

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

22

ПАРИЖ

1988

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1988

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Анатолий Стреляный

ЛЯЗГ КЛИНКОВ

(Выступление в Амстердамском университете)

Более или менее заметным ослабление цензуры в Советском Союзе стало совсем недавно. Это обстоятельство, которое может иметь едва ли не всемирно-историческое значение, только-только начинает сказываться, да и то почти исключительно в одной Москве. Во главе многих газет и журналов прочно стоят товарищи брежневского времени — народ оголтело бесцветный, а значит такой осторожный и послушный, что ему можно смело поручить погубление самых революционных начинаний. И однако же в публицистике дело уже доходит почти до рукопашной.

Лязгом клинков бывают наполнены даже такие сочинения, невнятность которых по традиции обеспечивается усилиями целого штата особых людей — я имею в виду хотя бы газетный отчет о недавней встрече главных московских редакторов с высшими руководителями страны.

”Сейчас модно плавать по рекам истории”, — сказал поэт и главный редактор журнала ”Советский Союз” Николай Грибачев. Главный же редактор журнала ”Знамя” Григорий Бакланов считает, что это не мода, а нормальная потребность людей узнавать то, что столько десятилетий не позволялось знать, и вести такие разговоры, за которые еще вчера можно было тяжело поплатиться, и с многими — лучшими из нас! — это случилось.

”Бюрократ любит порядок и создает его, а жизнь — это не порядок, это стихия. Кто же нарушает этот порядок? А наруша-

ет его в первую очередь интеллигенция. Потому что она своим умом все пытается доискаться до причин, все время пытается понять: как же должна течь жизнь и в чем ее закономерности?"

Не мода, а неистребимый природный интерес к закономерностям...

Главный редактор "Правды" Виктор Афанасьев недавно начавшуюся критику "того, что было, и того, что есть," называет "безудержной" и резко противопоставляет ее "позитивным предложениям", "созидательной работе". Как и в прежние годы, он с теми, кто считает, что критики, при всей ее важности, должно быть меньше, а "созидания", утверждения позитивных начал — больше.

Председатель Госкомиздата СССР (Министр по делам издательств и полиграфии) Ненашев — наоборот, жалеет, что у отрицателей до многого еще не дошли руки. "Мы, — говорит он, — пока плохо раскрыли и обязаны раскрыть суть застойного (то есть, брежневского — А.С.) периода". Отношения между отрицанием и утверждением он видит совсем не так, как Афанасьев. Он прямо заявляет, что только из критики прошлого может родиться надежная программа созидания, только серьезная критика может убедить людей, что у страны нет другого выбора, кроме демократического. "Надо, чтобы все это поняли".

Выслушав (в который раз) эти прения, Михаил Горбачев сказал: "Вы можете быть уверены, что мы улавливаем весь плюрализм мнений на этих наших встречах". Он, однако, возражал против выражения "враг перестройки", начавшего было приживаться в прессе, особенно в читательских письмах. Для него, по его словам, "это звучит как-то зловеще" — не менее, надо полагать, зловеще, чем обвинения и угрозы сталинистов, чью платформу, в его отсутствие, напечатала газета "Советская Россия". Наш Генеральный миролюбивый секретарь еще раз подчеркнул, что он не приемлет методов "хождения стенка на стенку". Но вон сколько драматизма в одном только разговоре, вон как отчетливо выявлена противоположность двух позиций, к которым у нас, по существу, сводится все разнообразие мнений: демократической и недемократической. А ведь участники этого разговора еще ж наверняка сдерживало присутствие высших руководителей страны...

"Демократы", как им и положено, выступают за то, чтобы право голоса имели все, в том числе и недемократы. Эти же

последние, как и должно быть, как до сих пор и было, хотя иметь свободу слова только для себя, что на практике означает: только для начальства. Правда, упоминавшийся Грибачев в присутствии Горбачева уже высказался против "административных мер" в отношении идеологически сомнительных, с его точки зрения, сочинителей. "Пусть, — говорит, — люди работают спокойно". Единственное, что он продолжает требовать от властей, — чтобы была "углублена" и "усилена" воспитательная работа в журналистике.

Господи, сказал мне один многострадальный литератор, да если нам дадут и дальше спокойно работать, если не будут, как бывало и еще бывает, резать по живому или бросать в корзины наши тексты, пусть воспитывают нас сколько угодно, мы не такое переживали!

Это касается явно политических споров, отражающих борьбу за лидерство в обществе, а в случае с "литературными генералами", как у нас называют литераторов, занимающих высшие посты в "министерстве" писателей, это еще и борьба за влияние на первых лиц в партии и государстве. Может быть, как раз это имел в виду проницательный Горбачев, когда заметил (я там не был, но не исключено, что — с тонкой улыбкой), что он хорошо улавливает все разнообразие мнений во время своих встреч с высшим комсоставом идеологического фронта. Судя по тому, что весеннее выступление сталинистов было направлено против него, он не с ними, хотя открыто и последовательно быть с нами, с "демократами", ему подчас и трудно: мы народ плохо управляемый, часто говорим и делаем то, что ему, по его мнению, только мешает. Он, конечно, понимает, что "учиться демократии" — значит учиться терпеть то, что тебе не нравится, но эта наука, непростая и неприятная сама по себе, особенно трудна для власть имущих. Вот почему мы настойчиво говорим о необходимости таких механизмов демократии, которые обеспечивали бы максимально возможную независимость человека от власти, а ей, в свою очередь, помогали бы держать себя в руках.

Что же касается литературно-философских разговоров, то наибольшей непримиримостью отличаются разговоры о народной нравственности и национальной культуре, о желательном устройстве народной жизни. Любой такой разговор — это в большей или меньшей мере разговор о деревне, мне особенно

близкий. О деревне — потому что там национальное ярче всего проявляется и дольше всего живет, тут мы не исключение. Дополнительную остроту спорам придает положение нашей деревни, состояние нашего сельского хозяйства и сельской жизни.

У нас около полумиллиона сел, жители которых (96 миллионов) заняты в крупных кооперативных и государственных фермах (колхозах и совхозах), на других предприятиях и в учреждениях в сельской местности. Разница между колхозами и совхозами во многом формальна, поскольку те и другие на деле лишены сколько-нибудь существенной хозяйственной самостоятельности. У колхозов, правда, прав чуть-чуть больше, и они, будучи обеспеченными хуже технически, чем совхозы, работают все-таки лучше.

Все в деятельности колхозов и совхозов и в жизни сел, за исключением, пожалуй, семейных отношений, определяется и контролируется властями: характер и объемы производства, куда сбывать продукцию — и сколько, где покупать все необходимое для производства — и чего сколько, по каким ценам продавать и покупать, что и когда строить, как распределять доходы, кому сколько платить, сколько иметь специалистов — агрономов, ветврачей и т.д.; какие применять формы организации и оплаты труда, кто должен быть первым лицом в хозяйстве (председателем колхоза или директором совхоза), кто — вторым (то есть платным функционером партии), кто — третьим (то есть платным функционером профсоюза).

Естественно, поставленными в такие условия хозяйствами может управлять только гигантский внутривластный и внешний бюрократический аппарат. Его деятельность критикуется и "совершенствуется" столько же, сколько он существует, а существует он со времен принудительно-террористической сталинской коллективизации — с начала 30-х годов, но, как я заметил в одной своей статье, хлопотать о грамотности административного управления экономикой то же самое, что — о грамотном хождении на руках: как бы хорошо мы ни научились ходить на руках, все же на ногах будет удобнее и быстрее.

Само собой разумеется, что связанное по рукам и ногам, наше сельское хозяйство угнетает нас, смещит и, кажется, пугает за границу крайне низкой своей продуктивностью при огромных затратах. Недавно с одним моим другом, первым лицом партии в одном сельском районе (то есть фактическим хо-

зьяном района, который, правда, связан наличием такого же хозяина в области, который, в свою очередь, связан наличием такого же хозяина в республике), — мы подсчитали, с опорой на западные стандарты, что если бы нынешними материальными ресурсами в его районе распоряжались люди, жизненно заинтересованные в деле и свободные в своих решениях, то нынешний объем производства был бы не только обеспечен, но и превзойден таким числом работников, которое занято сейчас в управленческом аппарате. "Мне хватило бы одних подчиненных мне чиновников", — серьезно сказал этот мой друг, блестяще подготовленный агроном, один из растущего числа людей, которые хотят ходить не на руках, а на ногах.

Под хождением на ногах мы понимаем нормальные цивилизованные товарно-денежные, рыночные отношения в стране, широчайшую хозяйственную самостоятельность населения — как сельского, так и городского.

Кое-что в этом направлении сейчас делается, очень многое намечается, но реальным достижением последних трех лет следует назвать не политико-экономические реформы, а предоставленную нам возможность более-менее нестесненно говорить о них, называть вещи своими именами, обсуждать наши пути и перепутья.

Замечу в скобках, дабы Виктор Афанасьев не упрекнул меня в очернительстве, что в казарменном положении колхозов и совхозов (как и промышленных предприятий) есть плюсы, значение которых нельзя недооценивать. Это плюсы уравниловки. Первый из них — социальная защищенность больших масс людей, пусть и на весьма низком уровне и часто унижительная, поскольку платить за нее надо лояльностью ко всякому начальству, но очень надежная, освященная идеологически: ее считают величайшим завоеванием и принципиальным преимуществом социализма. Я думаю, этот пункт официальной веры будет ревизован одним из последних, если не последним.

Второй плюс связан с первым: жизнь в условиях, когда вместо полнокровной конкуренции вам предлагают социалистическое соревнование, очень выгодна для тех, кто не хватает звезд с неба, то есть для большинства, о чем уже начинает говорить наша публицистика. Знать эти два плюса достаточно, чтобы понять, почему казарменность так долго и сравнительно устойчиво держалась и почему она уступит свои позиции не

раньше, чем полностью изживет себя, — то есть, когда от нее начнет ощутимо страдать не только выдающийся труженник, но и работник-средняк, когда этот средняк кожей поймет, что в его же интересах допустить, чтобы мастер получал на порядок больше подмастерья.

Боюсь, что у нас до этого еще не так близко, как хотелось бы, хотя и есть обнадеживающие признаки. Один рабочий-грузчик из большого сибирского города Томска мне пишет: "Я бы желал, чтобы власть просто обрушила на всех нас правильную экономику. Пусть было бы очень трудно, но ведь еще много осталось людей, которые могут работать и научить этому других. Кроме того, мы не так бедны, и можно, наверное, смягчить трудности переходного периода, но зато людей, почувствовавших вкус свободного труда, уже не остановить". Он набрасывает красноречивый портрет класса, к которому принадлежит и от которого, в конечном счете, видимо, будет зависеть, чем закончится горбачевская попытка демократизации хозяйственной и политической жизни: "Уже теперь на заводах в цехах остается в лучшем случае 2-3 спеца (рабочих высшей квалификации — А.С.) из числа ветеранов, о которых говорят "золотые руки" и которые могут дать дельный совет новичку, и 5-6 дежиг-средняков, способных поторговаться с администрацией, но все же выполнить задание как следует. Основную массу составляют те, которые привыкли делать все по принципу тляп-ляп, получать свои 150-200 рублей — и больше ничего не желать".

В сельском хозяйстве картина, пожалуй, еще хуже, во многих колхозах и совхозах просто некому работать, так что когда меня недавно спросили на одной встрече с читателями, пойдет ли, по моему мнению, власть на роспуск колхозов, я должен был ответить, что многие из них на деле давно распущены: нельзя же всерьез считать существующим колхоз, в котором урожай убирают горожане, а коров доят, случается, солдаты — в порядке шефства.

Среди слабостей и пороков, особенно бросающихся в глаза в деревне, обязанной быть хранилищем устоев, — пьянство, наплевательское отношение к труду, к земле, к ближнему, воровство, бытовая распущенность, среди начальствующего слоя — самодурство, очковтирательство, коррупция, угодничество, казнокрадство, цинизм. Страдания, которые испытывает

вынужденный жить в этой обстановке честный труженик, человек с обостренной восприимчивостью, — я хотел сказать — не поддаются описанию, но должен на ходу поправиться: поддаются. Это сделал, например, Валентин Распутин в повести "Пожар" — одном из наиболее заметных произведений нашей литературы последних лет.

Так вот, в современном русском литературно-философском разговоре нет единогласия даже по вопросу о том, что считать причиной, а что следствием того загнивания народной жизни, которое, если нам не повезет, может перейти не только в литературный *пожар*. Болота, как известно, могут гореть, это страшные пожары, один такой москвичи хорошо помнят — он продолжался чуть ли не все лето 1972 года в Подмоскovie, горький дым и запах горящего торфа стоял над всем огромным городом день и ночь. Одни считают, что коренная причина падения нравов — социально-экономическая, то, что в стране во всех областях жизни господствует не договор, а приказ. Без свободы нет ответственности. Без ответственности нет морали. Без морали нет человека. Без человека нет народа. А без народа нет ничего. В стране, где никто, ни один человек, ни одно предприятие, ни одна местность не может разориться — в такой стране постепенно разоряются все. Это банкротство во всех смыслах: хозяйственное, физическое, идеологическое, нравственное. Публицистам этого умонастроения кажется, что у Горбачева похожий ход мысли, несмотря на то, что он резко выступал против предложений допустить открытую безработицу (как будто скрытая — лучше) и однажды, кажется, вызвал недоумение у поборников равенства полов.

Одно из самых утешительных явлений для демократов — то, что с ними согласно большинство думающих, положительных людей в народе, где, как я давно заметил, лучше всего друг друга узнают — по запаху демократизма, спокойной цивилизованности — рабочие высшей квалификации и наиболее образованные и талантливые из интеллигентов. У меня много писем от тех и других, причем из провинции. Чтобы показать, о чем и на каком уровне они думают, приведу выдержки.

Читатель из Тольятти пишет, критикуя нашу казенную политэкономия: "Куда она может спрятаться от формул, выражающих объективные законы общества, основанного на стоимостных отношениях?" О препятствиях, чинимых у нас свобод-

ному движению продукции по стране, он говорит: "Разве это не пример пережитков феодальной эпохи в нашем индустриальном обществе? А сколько более серьезных пережитков? Ведомственность, система помпадурства, привилегий, иерархия департаментов... И мы на полном серьезе заявляем: у нас социализм — самый передовой общественный строй".

Из Ленинграда человек: "Наше народное хозяйство в предкризисе, но кризиса еще не было, поэтому необходимость радикальных изменений, связанных с вероятными переменами в материальном и социальном положении, до многих еще не дошла".

Студент: "Революция совершалась не для того, чтобы жили просто не так, как все остальные, а чтобы мы жили лучше, чем остальные... Это было быстро забыто, и выбрали пути, которые проще. А проще то, что уже знакомо. Экономическому принуждению к труду (кто не работает, тот не ест) предпочли принуждение личное: страх перед наказанием. А личное принуждение — это докапиталистическая категория... Так наша страна превратилась в раздутую до диких размеров феодальную вотчину. Ведь не случайно нынешняя реформа призвана вернуть производителям функции пользования и распоряжения... А культ личности? Покажите мне грамотного честного человека, который стал бы отрицать, что это — прекрасный индикатор феодальных пережитков!"

Инженер из Чебоксар: "Наиболее опасными в нашем обществе являются рецидивы феодального мышления. Проявления буржуазного сознания в сравнении с ними являются прогрессивными. По-видимому, народ в своей истории не может перепрыгнуть через этапы..."

Как видно, это люди, знакомые с методологией марксистского анализа. Это зрелище, так сказать, народного, самодеятельного марксизма не только забавное, но и поучительное. Вот чем оборачивается это оружие, когда оно уходит из-под контроля казенных псаломщиков. Не случайно в брежневские времена ведомство покойного Андропова особенно серьезно, я бы сказал почтительно-беспощадно, относилось именно к инакомыслящим марксистам. Сейчас они, надо признать, среди демократических сил представляют собой наиболее основательную. Они все-таки мастера объективного социального анализа, хорошо знают, чего хотят, трезвы, у них нет этой известной шизоидной

несолидности людей, которые умеют хорошо страдать за правду, но не умеют делать дело. Это пока единственное из наших умственных движений, о чем прямом участии догадываешься, читая крупные реформистские документы, наподобие последнего закона о развитии кооперации и последней речи премьера Рыжкова на ту же тему.

По мнению их пока немногочисленных оппонентов — приверженцев предельной стихийности, — эти люди берут на себя огромную ответственность, демонстрируя свою веру не просто в демократический, грамотный, высокоцивилизованный социализм, но в социализм, способный как минимум на равных соревноваться с Западом в производительности труда и качестве жизни. Они, мол, берутся (точнее, надеются, что им в конце концов будет позволено как следует взяться) устроить гармоничное сожительство плана и рынка, не дав еще достаточно развернутых, убедительных, не утопических ответов на несколько важнейших вопросов.

Они не указали на те стимулы к труду и снижению затрат, которые действовали бы с такой же силой, как "чисто" рыночные, связанные с частной собственностью.

Они не указали на механизм, который обеспечивал бы отбор общественно необходимых товаров и решений хотя бы не хуже, чем чисто рыночный. (Радуясь сейчас, что кое-где персоналам заводов позволяют избирать директоров, я нет-нет да и подумую: что толку самым демократичным образом избирать директора завода, который никому не нужен — общественная необходимость которого не выявлена рынком?)

Они не доказали, что оплата по труду (а не по результату, как на рынке) технически возможна...

Они, наконец, не доказали, что можно планировать факты, явления и подробности (которые, как известно, могут оказываться явлениями всемирно-исторического масштаба) научно-технического прогресса, как можно закладывать в пятилетки открытия, которые по самой своей природе непредсказуемы?

Я очень хотел бы, чтобы им удалось найти убедительные ответы на эти и другие, столь же простые и страшные, а для некоторых из них, пожалуй, и смешные вопросы своих оппонентов. Это ведь вопросы жизни. От того, как закончится этот еще как следует и не начавшийся спор и поиск, во многом будет за-

висеть будущее шестой части планеты, а значит, видимо, и всей планеты.

Другое наше литературно-философское направление не то что отрицает социально-экономическую причину падения нравов в стране, а как бы не замечает ее, не вполне понимает, что это такое, не думает об этом. Причиной всех наших национальных бед они считают разрушение старых, патриархальных нравственно-бытовых и, между прочим, организационно-хозяйственных устоев народной жизни, потерю веры в высшие, абсолютные ценности, лавинообразное нарастание приверженности к ценностям мнимым — материальным или псевдодуховным, иноземным и чуть ли не инопланетным. Это все они относят не к следствиям, а к причинам. Подразумевается, что чуть ли не главный враг нравственности — свобода. Где свобода, там своеволие личности, бесстыдный индивидуализм. Положительная программа их гласит, что нравственности нет без религии, без дисциплины, без твердой власти. Некоторые представители этого умонастроения отличаются, по выражению критика Екатерины Стариковой, принципиальной непросвещенностью, а коль так, то их выступления начинают носить, в условиях гласности, одиозно-ретроградный характер. Студент-марксист, чье письмо я цитировал, сказал бы, что это довольно заурядный феномен добуржуазного сознания, напуганного проникновением в привычную ему вотчину чуждых, коварно-соблазнительных идей и настроений "чистогана".

На меня, сына крестьянки, особое впечатление производит то, как они идеализируют организационно-хозяйственные устои, особенно совместное владение землей, которую крестьянин не мог ни купить, ни продать и которая периодически перешла соответствующим образом числу едоков в семье. В этом они видят непреходящее благо, отказ от которого постепенно приводит к тому, что народ превращается в население.

Этим "идеалистам земли" не хочется верить, а значит и знать, что без внешней цели, к которой община прикована нуждой, как во времена набегов и усобиц, или силой, как при крепостном праве, невозможно объяснить то, что на Западе понимает ребенок: почему крестьянин, лишенный права продавать и покупать землю, не может добиться серьезного хозяйственного успеха, а значит и сносно кормить достаточное количество людей. Льву Толстому и многим его современникам казалось,

что община из образцовой формы рабства, какой она была при крепостном праве, может стать образцовой формой братства. Жизнь показала, что это невозможно. Оторванная от барщины, община сразу же начинает разлагаться под напором нормальных товарных отношений.

Вот в какие дебри забирается сегодня московская публицистика, но ошибается тот, кто решит, что это все чисто теоретические разговоры, — в них участвуют такие лучшие, занятые практической злобой дня публицисты, как Василий Селюнин. Создание сталинских колхозов, напоминают "демократы" своим друзьям "патриархальщикам", означало как бы восстановление общины времен злодея Ивана Грозного, только в красном оперении. Один злодей создал подневольную русскую общину, а другой — "свободную" советскую. Цели были одинаковы: заставить крестьян бесплатно отдать свой труд. На это сходство мне впервые открыла глаза моя мать в 1946 году (мне было тогда 7 лет), когда мы вместе с ней отбывали сталинскую барщину. Нужно ли объяснять, почему я несколько нервно отношусь к тем, кто вольно или невольно, в упрек сегодняшнему — слов нет, суетному и холодному — дню напоминает день вчерашний, приукрашивая или просто не зная его, к тем, кто ищет особый русский путь в будущее не в русле объективных законов хозяйственной и общественной жизни, а в обход их.

У нас все время речь о выборе путей, такова наша судьба. У нас даже подписка на тот или иной журнал — почти гражданское действие. Отмечен громадный рост подписки на московские журналы демократического направления. Для меня было замечательной неожиданностью, что сильно отстали и, судя по последним опросам, будут отставать и впредь журналы, мягко говоря, консервативные. Они так клянутся в своей народности, такими крупными слезами оплакивают русский народ — это доброе доверчивое дитя, растение которого испокон веков является целью хорошо организованных и глубоко законспирированных темных сил, что могли бы, кажется, тягаться с демократами уже в силу своей одиозности. А вот нет же, основной читатель литературно-художественных журналов у нас такой, что его этим не возьмешь. Он видит, что слезы хоть и крупные, да мутные, и равнодушно отворачивается.

Улыбаясь над собой, мы говорим, что русский образо-

ванный человек остается таким же, каким он был сто лет назад. Западного человека в любом предмете, в том же рынке, интересует дело, практическая сторона, русского — нечто высшее. Ко всему, что не идеальное, не обещает решения сразу всех вопросов, имеет какой-то изъян, он относится равнодушно или враждебно. Это равнодушие и тем более враждебность к стихийности представляет собой реальную силу, с которой вынуждены считаться, вести тонкую игру наши реформаторы. Во всяком случае, именно так хотелось бы понимать беспокоящую нас медлительность и половинчатость некоторых их шагов и решений.

Благодарю вас за внимание к моей стране, о которой наш надрывный философ Чаадаев еще в 1829 году сказал то, что мы и сейчас охрипшими за столами в наших убогих казенных квартирах охрипшими от водки и табака, от страсти и тоски голосами: "Посмотрите, как мало нас знают, невзирая на нашу внешнюю мощь", потому что "значение народов в человечестве" определяется лишь их духовной мощью... "То внимание, которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят".

Мне хотелось как-то передать вам нынешнее состояние души рядового советского литератора. Это напряжение души — не писательское, не флюберовское. Писателю нужен покой, уединение, известная отдаленность от политики. Но может быть, мы все — каждый со своим полем напряжения — и существуем затем, чтобы слияние этих полей высекало такие искры, как Солженицын, как Сахаров и — мне очень хотелось бы сказать — как Горбачев. Нынешнее московское время — время чудес. Вот иной раз и подумаешь: а вдруг они, эти искры, тоже сольются — и вспыхнет дуга, и мир будет с изумлением и облегчением взирать на ее сияние.

Вот видите: мы неисправимы, нам надо так или эдак покорить мир, нам надо быть в нем великими. Что сулит нам будущее — величие или ничтожество, как избежать ничтожества, смертельно опасного для всего мира, и как обеспечить себе спасительное величие, — вот наш главный спор.

Нас одно объединяет в ходе этого порой ожесточенного спора: мы любим свою Родину мучительной любовью ненужных ей детей.



Уильям И. Одом

КАК ДАЛЕКО МОЖЕТ ПОЙТИ СОВЕТСКАЯ РЕФОРМА

Несколько лет назад только самые серьезные исследователи Советского Союза обсуждали теоретическую возможность реформы. Теперь те, кто делает политику в государственном аппарате и бизнесе, журналисты и комментаторы, широкая публика — все с интересом следят за непрерывно возрастающей дискуссией о реформе. Виновником наступивших перемен обычно считают Горбачева, но по существу Политбюро приняло новый курс еще при Андропове. При Черненко наступил перерыв, и новый курс продолжился при Горбачеве. Начатые Андроповым кампании против алкоголизма и коррупции не давали однако еще таких ясных указаний на масштабы задуманных перемен, как горбачевская "гласность", "перестройка" и "новое мышление". Под этими лозунгами началась беспрецедентная общественная критика и дискуссия, касающиеся состояния советской экономики и руководящей роли партии. Одновременно произошла смена высшего партийного руководства — тоже в масштабах, невиданных с начала 60-х годов. Все это никак нельзя считать заурядными событиями в советской истории. Поэтому к экономической и социальной реформе советского общества следует отнестись с полной серьезностью.

Проблема реформы советского общества, однако, сама по себе двусмысленна и чревата недоразумениями. Наиболее двусмысленно само слово "реформа". Реформа — с какой целью? И чьи именно цели преследуются? Кому должна будет служить "перестроенная" экономика? Плановикам или потребителям? Если потребителям, то всем или только некоторым группам? Одним словом, чья это реформа?

Горбачев пока что на эти вопросы не дал ясного ответа. Ни одна резолюция ЦК тоже не дает возможности понять намерения партийного руководства. Наблюдателям остаются речи, предложения, некоторые новые законы и статьи в официальной прессе и в самиздате, из которых можно как-то заключить, что же именно подразумевают лозунги "гласность", "перестройка" и "новое мышление".

На основе этих материалов делаются самые разные, часто несовместимые, выводы относительно целей и методов реформы. Это не удивительно. Если считать критику Татьяны Заславской в адрес советской экономики исходным моментом политики "перестройки", то можно ожидать решительной реформы всей системы. Связи Заславской с Аганбегяном и взгляды последнего (а их, как говорят, разделяет Горбачев) как будто подтверждают этот радикальный вывод. При чтении резкой критики по поводу недостоверной экономической отчетности возникает впечатление, что в Политбюро кто-то хорошо понимает, какой информационный хаос создает система централизованного планирования и административно регулируемых цен. Недавняя статья Николая Шмелева в "Новом мире" не оставляет никаких сомнений насчет пороков системы централизованного планирования. Он назвал всю политику цен, проводимую с конца 20-х годов, "тяжелым наследием", от которого надо отречься, чтобы реформа имела какой-то шанс на успех. Эта статья и многие другие настаивают на том, что никакие частные переделки не помогут — необходимы системные изменения.

Когда сам Горбачев обращается с упреками к руководству Госплана и Госснаба, создается впечатление, что Генеральный Секретарь готов к радикальным переменам. Это впечатление усиливают такие его слова: "Мы остро нуждаемся в фундаментальном переломе на теоретическом фронте, в идеях, обобщающих факты общественной жизни, в научном обосновании целей и перспектив нашего движения" (обратный перевод, — ред.). Этот призыв сверху к новой экономической теории как будто указывает на то, что Заславская, Аганбегян и другие убедили Горбачева, что экономический прогресс невозможен без рынка, где цены устанавливаются соотношением спроса и предложения.

Но, читая дальше, можно обнаружить, что Горбачев хотел бы достижений в теории, аналогичных достижениям Маркса в

результате анализа опыта Парижской коммуны или Ленина в первые годы советской власти. Он даже не намекает на Адама Смита или Давида Рикардо, классиков экономического либерализма, которые, возможно, вдохновляют Аганбегяна и других советских экономистов на оценку рынка как средства преодолеть могущество застойной бюрократии, руководящей советской системой централизованного планирования.

Напротив, документы июньского пленума (1987) напоминают скорее призывы Ленина к дисциплине и сталинскую работу "Основы ленинизма". Перестройка выглядит у Горбачева в виде смены нескольких волн. То, что происходит теперь, — только первая волна, поднимающаяся по желанию "масс". Перестройка может осуществиться только в результате долгосрочной политики: "Советский народ сознает, что для достижения многочисленных целей перестройки понадобится долгое время". Между тем, люди хотят видеть реальный прогресс. Горбачев рассказывает, что трудящиеся на одном из заводов спрашивали его: "Когда перестройка дойдет до нас?" Чиновникам, сопровождавшим его, было предложено извлечь урок из этого вопроса и двигаться побыстрее вперед. Июньский пленум подчеркивает снова и снова, что "волны" перестройки поднимаются снизу. Как же массы производят эти "волны"? Очевидно, через гласность — открыто жалуясь на положение дел, открыто выражая свои желания.

Кто должен отвечать на эти требования снизу? Рыночные силы? Предприниматели? Не похоже. Горбачев решительно возлагает эту задачу на бюрократию. Более того, он говорит о большой роли аппарата ЦК:

"В этих новых обстоятельствах отделы ЦК должны работать по-новому, оказывая большое влияние на дела в республиканских, краевых и областных партийных организациях, обеспечивая контроль за выполнением решений ЦК".

Обсуждая модернизацию советского машиностроения, Горбачев призывает к более решительным действиям министерств при составлении крупномасштабных программ и контроле над их выполнением сверху. Тут и речи нет о децентрализации и системных изменениях. Это скорее напоминает язык составителей первой пятилетки в конце 20-х годов.

Образ завершенной перестройки у Горбачева весьма зыбок. Трудно понять, куда он, по его же собственным представ-

лениям, идет. Легче различить, как он намерен туда идти. "Гласность" — это мотор движения. Импульс исходит от "масс". Через гласность выражаются интересы народа. "Перестройка" — это ответ. Ее осуществляют центральные органы партии, которые должны развить "новое мышление" и с его помощью заставить систему работать лучше, разработать новые программы для преодоления старых недостатков. Должно ли, так сказать, "количество" перестройки привести к "качественному" изменению системы вроде того, на котором настаивают Заславская и другие, — вот вопрос, который неизбежно встанет перед Горбачевым, воспитанным в духе диалектического материализма. Возможно, что скоро он ответит на него, но пока не ответил.

Но перемены в Советском Союзе вызывают не один вопрос, а два. Во-первых, как далеко может пойти экономическая и социальная реформа, если цель — это качественное изменение, при котором предпочтения потребителя будут играть главную роль в распределении экономических ресурсов (капиталовложений)? Во-вторых, как далеко эта реформа может пойти, если распределение ресурсов остается централизованным и определяется главным образом "предпочтениями плановиков". Такое резкое расчленение вопроса на два может показаться чрезмерно схематичным. Реальность обычно сложнее умозрительных построений. Но точная схема помогает анализу. Неоднократные неудачные попытки реформировать советскую систему централизованного планирования свидетельствуют как будто как раз о том, что реформаторы оказываются всякий раз перед жестким выбором. Может ли действительно существовать нечто среднее между централизованным планированием и рыночной экономикой, при которой плановики могли бы игнорировать уровень потребительского спроса в условиях товарного дефицита? В Западной Европе правящие социал-демократические партии давно пошли на теоретические и политические уступки рынку в ущерб идее централизованного планирования. Смогут ли современные большевики воспользоваться преимуществами свободного рынка, не платя за это ту же самую цену?

Призыв Горбачева к переменам в любом случае означает, что отныне можно предлагать многие экономические альтернативы. Можно быть уверенным, что некоторые из старых идей, предложенных революционерами до 1917 года или партиями и фракциями после 1917 года, всплывут опять. Кое-кто вспом-

нит НЭП. Кое-кто будет утверждать, что Бухарин предлагал путь индустриализации без отмены НЭП'а.

Уцелевшие меньшевики или их наследники могут считать, что жизнь подтвердила правоту их изначального убеждения в том, что для России невозможно перепрыгнуть через этап капиталистического развития. Критика централизованного планирования и политики ценообразования в нынешней советской печати, похоже, свидетельствует об их правоте. Другие обратятся к запаснику общественных идей, накопленных в последние годы царского режима и проявят интерес к идеям конституционных демократов (кадетов). Конституционализм, большая свобода частной собственности, но все же сильное государство, руководимое либералами; независимое, но совместное существование с нерусскими районами, — эти идеи популярны среди советских эмигрантов, которые полностью отрицают марксизм. Они, вероятно, популярны и среди некоторых советских экономистов, столь остро критикующих сейчас государственную систему планирования. Вполне понятно, что поговаривают о возрождении идеологии эсеров, народничества и аграрного социализма. Не исключено и появление "национал-социализма". Некие подобиya фашистских умонастроений возникали в России в последние годы Империи, — достаточно вспомнить черную сотню. Ныне выступления общества "Память", официально посвятившего себя охране русской старины, но винящего в порче русской культуры инородцев и жидо-масонов, поразительно напоминают некоторые старые настроения, внушенные национализмом пред-революционных лет. В этом случае экономической программой, если ее можно так назвать, является антикапитализм.

За последний век-полтора в России разрабатывалось много альтернативных путей экономического развития. Однако шансы на то, что какие-либо из них будут рассматриваться серьезно, очень малы, если мы вспомним наш первый вопрос, а именно: каковы перспективы качественного изменения советской экономической системы?

Дальнейший анализ будет сделан в три этапа. Сначала мы рассмотрим те черты советской экономической системы, которые мешают ее эффективности. Затем мы выясним критерии или объективные условия, при которых системные изменения действительно произойдут. И, наконец, мы попытаемся про-

анализировать, какие силы будут оказывать давление на экономику и политическую систему в случае системных изменений.

Советская экономическая проблема

Сущность ленинизма состоит в первичности политики по отношению к экономике. Это хорошо видно из разногласий Ленина с русскими профсоюзами в начале века. Он обвинял русских социал-демократов в "ереси экономизма", потому что они собирались поддерживать профсоюзы в попытках улучшить экономическое положение рабочих, оставляя в стороне и даже считая второстепенным делом развитие революционного сознания. Для Ленина лучшая зарплата была ничто без политической революции.

Тот же дух виден в работе Ленина "Что делать". Он призывал к созданию партии, которая могла бы возглавить революцию, а не просто предсказать ее и затем ждать, когда революция произойдет. Революция в России была неизбежной, с точки зрения всех марксистов, но ленинцы к тому же верили, что могут ее приблизить, действуя как авангард революционных классов. Ленинский организационный принцип "демократического централизма" на деле означал диктатуру партии. Свобода выбора оставалась за руководством партии. Можно спорить о том, пошел бы Ленин так далеко, как Сталин, по пути централизации экономики, но трудно отрицать, что концентрация экономических решений в руках партийной элиты — в духе ленинизма.

В этом и заключается сущность советской экономической системы. Она была предназначена для того, чтобы свести к минимуму воздействие рыночных сил на распределение ресурсов и использование производственных факторов. Сравнительно легко удалось поставить под центральный контроль землю и капитал. Рабочей силой, оказалось, труднее управлять централизованным методом. "Трудовые армии" Троцкого существовали недолго, но паспортная система обеспечила административный механизм, замедливший бегство крестьян из колхозов. Так постепенно сложилась система, при которой государство указывало каждому предприятию, что производить, кому поставлять продукцию и по какой цене.

Чтобы экономическая машина работала, необходимо вы-

полнение двух условий. Во-первых, контроль над землей, капиталом и рабочей силой. В западной экономике эту функцию выполняют частная собственность и деньги как средство обмена. Во-вторых, необходима некая информация, чтобы знать, что именно должен производить тот, кто контролирует факторы производства. Эту функцию в западной экономике выполняют цены, определяемые рынком, — даже в странах, где общественный сектор производства очень велик. Чтобы быть совсем точным, в западной экономике есть исключение — контролируемые государством оборонный сектор и сектор социального страхования, но и они берут за основу цены, существующие на рынке. Миллиарды единичных операций обмена помогают осуществлению функций "информации" и "контроля" в рыночной экономике.

В экономике советского типа обе эти функции выполняет в административном порядке орган центрального планирования, действующий по методу партии. Иными словами, центр решает, кто будет контролировать то или иное количество земли, рабочей силы и капитала. Частная собственность упраздняется. Финансовый план предприятия не определяет сферу контроля и действия предприятия. Это делает производственный план. Финансовый план составляется, чтобы мог функционировать производственный план. Чтобы получить доступ к большому количеству ресурсов, советское предприятие должно иметь не возможно больший бюджет, а больший план. Административная процедура приводит финансы предприятия в соответствие с планом.

Представим себе, какое количество административной работы приходится ежегодно проделывать, чтобы составить план каждому предприятию и добиться, чтобы они не противоречили друг другу. Объем информации, которую должен обработать Госплан, — необозрим. Государственные цены никакой истинной информации не дают, потому что это простое счетное средство, а не инструмент, определяющий меру потребности в ресурсах.

Но все это только начало. Допустим, что каким-то чудом Госплану удалось составить непротиворечивый план и обеспечить аккуратное его выполнение. Технический прогресс меняет производительность одного из факторов производства — земли, труда или капитала: как это должно отразиться на соотно-

шении цен? В условиях динамичного роста, когда новая технология и новые продукты появляются постоянно, плановые цены становятся источником путаницы и дисфункции. Сейчас новые цены определяются комиссиями, которые пытаются при разработке цены опираться на трудовую теорию стоимости. У этих комиссий нет ни малейших шансов поспеть за процессом, и, конечно же, они не в состоянии заложить в определяемые ими цены нужную информацию, для того чтобы централизованное распределение капиталовложений оказалось эффективным.

Самое невероятное в советской экономике то, что она вообще работает. Вокруг нее и на ее основе возникло бесчисленное множество неформальных процедур и нелегальных видов деятельности. Без них система, по-видимому, рухнет. А успехи в отдельных областях можно, вероятно, объяснить центральным контролем над системой приоритетов в снабжении ресурсами. Госснаб может кому-то отдавать приоритет — и так именно и поступает. Известно, что долгие годы на вершине системы приоритетов был военный сектор. Он находится в особом положении еще и потому, что имеет в своем распоряжении институт специальных представителей в министерствах и на предприятиях — "военпредов". Военпреды следят за каждым шагом производства, контролируя качество, и попросту не берут продукцию, не отвечающую нормам. Всем остальным приходится на рынке факторов производства и в системе розничной торговли брать то, что дают.

По мере роста советской экономики элемент абсурдности в ней все возрастал. Одновременно росли возможности для нелегальных и непланируемых действий. Так возникла "вторая экономика". Вторая экономика обеспечивает какое-то движение "первой", но она также размещает ресурсы вопреки предпочтениям центра планирования. С каждым новым планом возрастает давление на предприятия, с тем чтобы заставить их обеспечить выполнение поставленных перед ними задач. В условиях нехватки ресурсов, иррационального их распределения руководители предприятий изобретают все более изощренные способы создавать иллюзию выполнения плана. Вся история советской экономики — это история конфликта между предпочтениями центра планирования (в сущности, партийного руководства) и неспособностью управляющих на всех уровнях удовлетворять эти предпочтения.

В сталинские времена периодические кровопускания повышали формальную исполнительность. Временами был возможен обман в крупных масштабах, но чистки и перемещения кадров разрушали неформальные клики, конкурировавшие с центральными плановыми органами в контроле над распределением ресурсов. При Хрущеве кровавые чистки прекратились, но перетасовка кадров и частные реорганизации продолжали использоваться как средство борьбы с местными интересами.

При Брежневе правилом стала стабильность кадров. Реорганизации производились реже. Последствия этого нетрудно было предвидеть. Техника обмана центра становилась все более разнообразной и совершенной и все больше отражалась на выполнении плана. Раньше система по крайней мере демонстрировала свою способность к массовой переброске ресурсов из одного сектора в другой, способность ограничивать потребление и, таким образом, обеспечивать структурные изменения, намеченные партийной элитой. Теперь она превратилась в неподвижную бюрократическую структуру, возвышающуюся над роem местных клик, легко обманывающих центр и блокирующих серьезные изменения в распределении ресурсов.

В ряде случаев эти местные клики тесно переплелись с интересами национальных меньшинств. Республики обеспечивали себе "справедливую" долю нового строительства, производственных мощностей и пр. даже если это было в ущерб общесоюзным планам.

Такова ситуация, с которой теперь приходится иметь дело Горбачеву.

Критерии системных изменений

Допустим, что Политбюро хочет системных изменений, которые обеспечили бы динамичный рост, использование новой технологии, рост производительности факторов производства и обновление устаревших основных фондов и инфраструктуры. Отложим на некоторое время в сторону вопрос о том, "кому это выгодно". Будем считать, что динамичный рост и "рекапитализация" экономики — в интересах всех.

Главная особенность советской системы в том, что она не справляется с эффективным выполнением двух функций: контроля над факторами производства и информации об их ис-

пользовании. Советская пресса сегодня свидетельствует об информационной "перегрузке" центра. Западным наблюдателям это известно давно. В этих условиях разговоры о поощрении менеджеров и рабочих к более эффективному труду мало что значат, пока административный подход к информации и контролю остается в силе.

Какова же альтернатива? Рыночные силы. Системное изменение должно начаться с "существенного" ослабления централизованного планирования и ценообразования. Но как далеко должно зайти это ослабление, чтобы считать его "существенным"? Оно должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить адекватную информацию о потребностях на местах в факторах производства. Это означает, что роль рыночного сектора должна быть большей, чем роль планового сектора. И перераспределение ролей не может быть маржинальным. Оно должно быть достаточным для того, чтобы превратить рубль в конвертируемую валюту.

Такой переход к рыночной экономике невозможен без свободного потока информации в массовых ее средствах, в банковской системе, в сфере науки и техники. Цензура, какой она была до сих пор и какая все еще сохраняется даже в условиях гласности, препятствует этой необходимой свободе информации. Роковая роль цензуры как препятствия к развитию рыночной экономики была ясна уже пражским реформаторам в 1968 году. Встав на путь ослабления централизованного планирования, задумав всерьез системную реконструкцию, они обнаружили, что должны отменить цензуру.

Второй критерий системного изменения, таким образом, это свобода информации в той мере, какая необходима, чтобы обеспечить эффективную рыночную деятельность, включая и международную торговлю. Без этого невозможна ценовая конкуренция и рубль не сможет стать конвертируемым.

Наконец, власть партии не только в центре, но и, в особенности, на местах блокирует эффективную рыночную деятельность. Власть партии в экономических делах всегда была верховной, и об этом напоминали советским гражданам все генеральные секретари. Партия всегда была выше закона.

На Западе закон понимается как ограничитель политической власти и гарантия прав личности: все, что не запрещено, разрешено. В советском обществе господствует противополож-

ный принцип. Он основан на идее "предписания": делай что, от тебя требуют, остальное — запрещено. Возможно, — это несколько огрубленная трактовка советского закона, но не слишком.

Эта традиция старше советской власти. Самодержавие в России никогда не было ограничено законом, хотя манифест 1905 года подошел очень близко к идее подобного ограничения. Предписательный характер русского закона ясно выразил чеховский унтер Пришибеев: "Почему народ собрался? Сказано в законе, чтобы люди собирались вместе, как конские табуны?". Правда, после Великих реформ 60-х годов прошлого века закон начал играть существенную роль в экономической деятельности. Обрела смысл частная собственность в западном значении этого слова: купец и землевладелец получили уверенность, что закон защищает их право на капитал и землю. В Советском Союзе, однако, дело обстоит не так. Власть партии не может законно оспариваться.

Таким образом, третий критерий системного изменения — это юридические гарантии права осуществления контроля над факторами производства, в особенности над землей и капиталом. Местным партаппаратчикам не должно быть позволено вмешиваться в действия руководителей предприятий по использованию и размещению своих ресурсов. В противном случае, остается неясным, кто выполняет функцию контроля над рыночной деятельностью, а это, в свою очередь, препятствует нормальным поискам путей к экономической эффективности. Те, кто принимает собственно экономические решения, в этих условиях не могут быть уверены в том, какими ресурсами они располагают и как долго они будут ими располагать.

Таким образом, необходимо, чтобы контракт обязывал обе стороны. Индивидуумы и фирмы, включая государственные предприятия, должны быть подотчетны закону, а партия должна получать доступ к контролю над капиталом и землей только на основе легальной процедуры. Например, через систему налогов или определенных законом случаев, когда за ней признается право на принудительное отчуждение частной собственности, которая до этого признана как частная.

Таковы три критерия фундаментального изменения системы. Если они будут удовлетворены, это будет означать не только разрыв с советской традицией, но и с традицией, имеющей

глубокие исторические корни в русской истории. Если они удовлетворены не будут, с советской экономикой сделать ничего не удастся. Некоторые элементы нынешней советской политики и некоторые высказывания советских специалистов как будто указывают на то, что речь идет о фундаментальных переменах.

Последствия структурных изменений

Когда пытаешься представить себе советскую экономику как экономику, движимую рыночными силами, на ум приходит та характеристика, которую давал капитализму Иозеф Шумпетер. Он рассматривал капитализм как динамичную и революционную силу, примечательную прежде всего своим разрушительным потенциалом — именно в силу своей нацеленности на нововведения. Рост и повышение эффективности вряд ли будут первыми результатами капитализации советской экономики. Возможно, что, с точки зрения партии, наиболее устрашающим последствием будет утрата ею политической власти в особенности над местными и национальными силами. Уже в ходе борьбы за гласность некоторые этнические группы и районы увеличили свою независимость. Сохранить союз национальностей в новых политических и юридических условиях будет трудной задачей и потребует использования большей военной и полицейской власти. Именно перспектива утраты политического контроля, вероятно, отпугивает власти от поисков экономических успехов на пути системных изменений. Забудем, однако, на время, об этом риске, и взглянем на чисто экономический сценарий.

Поначалу в результате системных изменений выиграют прежде всего мелкие предприятия. Они смогут быстрее приспособиться к требованиям рынка. Масштабы их перестройки будут вполне управляемы. Они будут обслуживать небольшой и близкий рынок, и сбор информации о нем не обойдется слишком дорого.

Но эффективность, которую обеспечит процветание этого сектора, имеет свои пределы. Горбачев это понимает, что отразилось в материалах июньского пленума (1987). На этом пленуме Горбачев заметил, что если дать людям возможность самим производить, что они хотят, возникнет множество мелких предприятий, слишком мелких, чтобы для них оказалось

выгодным использование современной технологии. Вместо того, чтобы воспользоваться преимуществами новых видов технологий, революционизировавших Запад, мелкие фирмы будут сопротивляться им даже сильнее, чем сопротивляются теперь крупные государственные предприятия и отрасли промышленности. Будут, конечно, исключения, и временами будет преобладать противоположная тенденция, но в целом и в долгосрочной перспективе сопротивление новому нетрудно предвидеть.

Упадок неэффективных производств будет также сопровождаться безработицей. Скрытая безработица уже существует в виде недоиспользуемой и фиктивной рабочей силы. Стремясь обеспечить прибыль, управляющие, конечно, будут прибегать к сокращению штатов. Станут неизбежны широкие увольнения.

Возможны еще две неблагоприятные тенденции на рынке труда. Экономическая реконструкция потребует серьезных перемещений рабочей силы в обществе, где долгие годы господствовала низкая подвижность. Двинутся ли мусульмане из Средней Азии в поисках работы в Россию и на Украину? Скорее они, как и другие этнические и религиозные группы, будут сопротивляться перемещению.

Обострится также проблема качества рабочей силы. Рыночная деятельность потребует новых профессий. Там, где рабочая сила имеется, она не будет обладать нужными свойствами. Массовая грамотность и элементарное образование, конечно, резко изменили характер советских трудовых ресурсов со времен Второй мировой войны, но автоматизация и широкое использование западных производственных технологий, основанных на применении компьютеров, потребуют дополнительного усовершенствования трудового обучения и системы всеобщего образования.

Дополнительные заботы будут связаны с миграциями из села в город. Многие колхозники, несомненно, воспользуются возможностью перебраться в город.

Хотя давление на города за 70 лет существенно ослабло, переход сельского хозяйства на рыночную основу вытолкнет новую волну крестьян в городскую местность. Это наверняка произойдет, если техническое усовершенствование сельского хозяйства приведет к повышению производительности труда. С учетом того, где именно образуются излишки рабочей силы в деревне и какими темпами они будут расти, эта ситуация мо-

жет оказаться вполне управляемой, даже желательной, если промышленность, реконструированная рыночными силами, начнет процветать и потребует новых трудовых ресурсов.

В настоящее время отряд советских "белых воротничков" представлен главным образом бюрократами и инженерами. У белых воротничков с производственной квалификацией хорошие перспективы: если перестроенная на основе рынка промышленность оживится, спрос на них увеличится. Плановикам и чиновникам из институтов планирования и управления придется хуже. В Госплане, Госснабе и в статистических управлениях работы не будет, поскольку их роль либо уменьшится либо вообще исчезнет. Зато резко возрастет потребность в других видах "белых воротничков" — специалистах по маркетингу и рекламе, продавцах, исследователях спроса и т. п. Этих профессий советская экономика или не знает вообще, или они имеют профиль, приспособленный к системе централизованного планирования. Между тем, в стране нет учебных заведений для их подготовки.

В рыночных условиях потребуются и переподготовка производственных руководителей. Директора старого советского покроя, бухгалтера, служащие системы управления — партийные работники, сотрудники КГБ, руководители профсоюзов, — люди этого типа не облегчат перевод экономики на рыночную основу.

Похожие проблемы можно предвидеть в финансовом секторе. Банкам и тем, кто следит за "финансовыми планами", придется делать совершенно новую работу. Финансовая отчетность и планирование в СССР не связаны с принятием решений по распределению ресурсов. Они следуют за производственным планом, заботясь только о том, чтобы денежные отношения, выраженные в контрактах и издержках на рабочую силу, координировались с планами.

Если рыночные силы вступят в игру, финансовому сектору придется взять на себя ключевую роль в распределении ассигнований. Их решения о капиталовложениях будут определять производственный план, а не наоборот, как теперь. Инвестиционные банки неизвестны в Советском Союзе. Их функцию придется выполнить финансовым институтам. На июньском пленуме Горбачев говорил о необходимости модернизации машиностроения и о важной роли министерств, призванных на-

правлять и координировать усилия в этом направлении. Если бы этот процесс проходил в рыночных условиях, финансовые учреждения, а не министерства должны были бы заниматься мобилизацией и распределением нужных капитальных средств.

Проблема финансового планирования трудно разрешима для экономики, пытающейся перейти от системы господствующего государственного планирования к рыночной. Это хорошо видно на примере Египта. Американский консультант египетского правительства рассказывал мне, до какой степени египетские чиновники усвоили советские методы планирования. Либо им не нравились возможные выводы из соответствующего анализа для принятия решений о капиталовложениях, либо они просто не могли понять сути анализа рыночной ситуации, но так или иначе они упорно сопротивлялись новым для них методам даже в тех случаях, когда в принципе соглашались с необходимостью к ним перейти. Можно предполагать, что в Советском Союзе решить эту проблему будет еще труднее. "Новое мышление", на котором настаивает Горбачев, потребует долгого усвоения, если он имеет в виду подобные вещи.

Еще одно негативное явление, которое будет сопутствовать переходу к рыночной системе, — это инфляция. Неявная инфляция в большой мере уже существует. Если производство будет определяться спросом, то, конечно, вначале неудовлетворенный спрос будет огромен, причем это произойдет как раз в переходный период, когда производство, вероятно, упадет. То, что в советской печати времен НЭП'а называли "товарным голодом", возникнет опять. В тот раз партия "товарного голода" испугалась.

Советская рыночная экономика могла бы остаться в изоляции от мировой, но это, кажется, не входит в намерения Горбачева. Напротив, новый закон о совместных предприятиях указывает на то, что он скорее верит в необходимость экономического сотрудничества с Западом.

Каковы же могут быть последствия расширяющихся экономических контактов с Западом? Обычно специалисты по экономическому развитию говорят, что развивающиеся страны должны брать у передовых займы для импорта современной технологии и затем расплачиваться экспортом сельскохозяйственных товаров и минерального сырья. Однако теперь цены на эти товары упали по сравнению с ценами на промышленную

продукцию. Это одна из причин огромного долга третьего мира.

Советскому Союзу не удастся избежать всех последствий этого неблагоприятного соотношения цен. Его валютные запасы упали с падением цен на нефть. К тому же Советский Союз уже давно перестал быть крупным экспортером сельскохозяйственной продукции и сам зависит от импорта зерна. Поэтому Советскому Союзу придется довольно туго, если он откроется одновременно для мировой торговли и для рыночных сил. Перспективы взаимовыгодной западно-восточной торговли были весьма скромными даже в лучшую пору — в начале 70-х годов. И теперь они выглядят бледно.

Список экономических неприятностей в случае системной реформы можно было бы продолжить, но и сказанного вполне достаточно, чтобы показать, какие могущественные и разнообразные силы высвободятся, если Советский Союз примет рыночную систему. Не исключено, что окажется возможным (если будет обеспечено длительное политическое согласие между сторонниками рынка) освободить эти силы не все враз, чтобы ослабить негативные последствия. Иными словами, идею перехода вполне можно защищать, несмотря на очевидные дисфункции, которые она породит в переходный период. Быть может, действительно стоит заплатить за будущие преимущества, которые обнаружатся, когда система придет в равновесие после нескольких трудных лет переходного периода. Н. Шмелев, вполне отдающий себе отчет во всех неприятностях этого рода, кажется, готов, несмотря ни на что, принять этот сценарий.

Но советским руководителям более серьезными кажутся, должно быть другие последствия, потому что им не так-то легко будет обеспечить длительное и широкое политическое согласие. Наиболее серьезным последствием будет неизбежный сдвиг политической власти. Партия, в особенности ее элита, лишится в общем и целом нынешних полномочий.

Нынешняя система предполагает, что главной движущей силой экономики являются решения и предпочтения партийной элиты. Она предпочитает тяжелую промышленность, военные расходы и сохранение системы привилегий в снабжении. Она упорно настаивает на своих предпочтениях даже перед лицом очевидной неэффективности и полного экономического застоя. Она предпочитает политическую стабильность, которую гарантирует контроль над экономикой, в чрезвычайно раздроблен-

ном государстве, где национальные меньшинства и недовольные общественные группы создают значительный центробежный потенциал. Существующая политическая система обеспечивает и контроль над странами Восточной Европы. Сейчас элита, по-видимому, оценивает свои перспективы в случае либерализации рынка.

Москва всегда была озабочена центробежными тенденциями в национальных республиках. Если в обществе воцарится "закон", младшие национальности получают реальную возможность отделиться от СССР, в принципе гарантированную им конституцией. Прибалтийские республики в условиях рыночной экономики могут, например, достичь больших экономических успехов. Не захотят ли они избрать самостоятельный политический путь? Почему бы и кавказским республикам не захотеть того же? При нынешней системе, централизованного планирования, как бы она ни была неэффективна, национальные партийные элиты научились извлекать для себя преимущества даже из ее пороков. Одно из парадоксальных явлений брежневской эпохи — возросшая лояльность национальной бюрократической верхушки по отношению к центру. Сепаратистские настроения распространены главным образом в среде художественной интеллигенции, заинтересованной в культурной независимости. Хотя партия не может совершенно игнорировать этот неприятный фактор, он доставляет ей сравнительно мало хлопот. Высвобождение рыночных сил может привести к союзу этих политически слабых групп с гораздо более мощными группами политических и экономических аппаратчиков в Прибалтике, на Кавказе, а возможно и на Украине и в Средней Азии. Не только другие национальности, но и сами русские начинают демонстрировать необычную озабоченность этническими проблемами. Центробежные стремления национальных меньшинств, кажется, усиливаются даже без перехода к рыночной экономике.

Еще одну нелегкую проблему руководству придется решать в связи с военными ассигнованиями. По традиции они очень велики и считаются первоочередными. В долгосрочной перспективе системная перестройка экономики обеспечит более совершенную научно-техническую базу и для военного сектора. Но в перспективе ближайших лет попытка удовлетворить долго сдерживаемый потребительский спрос ударит по приоритету военных расходов.

В прошлом партия демонстрировала способность сокращать военные расходы. В 1921-23 году было проведено радикальное сокращение Красной Армии, несмотря на сопротивление военных кадров, не хотевших возвращаться в деревни к сельскому труду. После Второй мировой войны Сталин вновь сократил армию. Но эти сокращения были проведены в особых условиях: армия была истощена и нуждалась в новом и современном оборудовании. Военное руководство могло согласиться с партией, что, пожертвовав военным могуществом сейчас, можно будет обеспечить еще большее военное могущество в дальнейшем.

Нечто подобное может оказаться возможным и сегодня, но обстоятельства теперь иные. Арсенал вполне современен. Военные обязательства советской армии весьма значительны. Не будет ли серьезное сокращение слишком рискованным? Если армия будет сокращена, удастся ли сохранить контроль над странами Варшавского договора? Экономия будет достигнута не за счет стратегических сил и не за счет производства современного оружия. Главные ресурсы сокращения — наземные войска, ПВО и морской флот. Но нынешние переговоры о разоружении их не затрагивают. Они касаются как раз тех производств, которые составляют наиболее совершенный и современный сектор советской экономики.

"Военный вопрос" всегда был центральным для советской политики. Это остается в силе. И во многих отношениях сегодня труднее изменить военно-промышленную политику, чем это было в прошлом, хотя состояние экономики, казалось бы, настоятельно этого требует.

Дело в том, что "спрос" со стороны армии, вероятно, больше всего сделал для модернизации Советского Союза, чем любой другой фактор. При этом решающее значение имело то, что это происходило в условиях централизованного планирования. Ликвидация этой системы не только связана с военным риском, но и может привести к застою в военно-промышленном секторе. Внешне убедительный аргумент, что военные расходы наносят ущерб экономике в целом, попросту несостоятелен применительно к Советскому Союзу и не только к нему. В некоторых случаях это действительно так, но в других случаях экономический рост и военные расходы сопутствуют друг другу.

Наконец, если установится рыночная экономика, существенно пострадают местные партийные и экономические верхи. Какова будет реакция? Разумеется, они не отдадут своих привилегий без борьбы. Сильная супер-элита — Политбюро, ЦК и КГБ — могут, конечно, нанести им политическое поражение. Прецеденты были: Сталин сокрушал местные элиты в 20-х и 30-х годах. Но он добивался централизации экономического контроля, а не децентрализации. Разумеется, нельзя утверждать, что теперь подобное совершенно невозможно. Для успеха реформы это существенно важно. Но это потребует фундаментальной политической революции сверху.

С этой точки зрения, попытки Горбачева создать коалицию в поддержку перестройки выглядят весьма поучительно. Он привлек к своему делу значительную часть интеллигенции. Он поощряет ее искать убедительные аргументы в пользу радикальных перемен, демонстрировать, что выход из экономического кризиса невозможен в рамках старого мышления. Он даже пытается заручиться поддержкой западной прессы и западного общественного мнения — беспрецедентный шаг для Генерального Секретаря ЦК КПСС. До сих пор советские диссиденты призывали западное общественное мнение поддержать их борьбу против режима. Сегодня мы присутствуем при необычном зрелище: Горбачев заимствует их тактику в своей борьбе против замшелой бюрократии в Советском Союзе.

Так или иначе, а парадокс остается: для децентрализации экономического контроля и власти необходим сильный центральный контроль. Если Горбачев достигнет успеха, он утратит собственную центральную власть в пользу сил, способных подорвать политический авторитет режима в такой мере, что это может повести к развалу империи. Рискованность и неопределенность результатов на этом пути позволяют задать вопрос: а в самом ли деле Горбачев имеет это в виду? Он должен это иметь в виду, если он хочет системных изменений. Он не имеет это в виду, если на самом деле системных изменений не хочет. Горбачев должен понимать парадокс. Если он его понимает, то либо он рассчитывает как-то избежать опасности, либо не предполагает системных изменений. В любом случае, сохраняя власть за партией, он должен ответить на второй вопрос: как далеко может зайти реформа, если распределение ресурсов остается централизованным и определяется предпочтениями "плановиков".

Что возможно помимо системных изменений

Время от времени высказывается мысль, что Советский Союз должен воспользоваться опытом восточноевропейских стран, пытавшихся найти лекарство от пороков системы централизованного планирования советского типа. При этом часто называют Венгрию и ГДР, не задаваясь вопросом, как эти модели в действительности работают. Похвалы, которых эти две страны заслужили в западной прессе, выглядят странно, если поинтересоваться, чего эти две страны на самом деле добились. К тому же экономическая структура этих двух стран столь отлична от советской, что их опыт, каков бы он ни был, будет трудно, если вообще возможно, применить в Советском Союзе.

В Восточной Германии легче обеспечить дисциплину бюрократов и трудящихся, благодаря более высокой культуре и более совершенной структуре производства. Немецкая этика труда весьма отлична от русской. Но если даже всем советским бюрократам и рабочим удастся привить немецкую этику труда и они действительно станут лучше работать, это будет всего лишь частное улучшение и не создаст основы для постоянного экономического и технологического прогресса. Рабочая этика не может заменить частную собственность и рыночные цены в том, что касается функций "контроля" и "информации", чтобы обеспечить экономике динамизм, способность осваивать новую технологию, приспособляться к новому спросу и менять структуру. Это становится совершенно очевидно, если сравнить Восточную и Западную Германию.

Кроме того, надо иметь в виду, что восточногерманская Новая модель многим обязана торговле между двумя германскими государствами, которая по существу обеспечивает субсидирование восточногерманской экономики Западной Германией.

В Венгрии с конца 60-х годов ослаблен контроль над небольшой частью экономики, но в целом центральный контроль сохраняется и во многих случаях отнимает одной рукой то, что дает другой. Венгерский опыт вряд ли стоит того, чтобы им вдохновляться.

Несколько лет назад один советский чиновник довольно убедительно объяснил, почему для Советского Союза опыт восточноевропейских стран бесполезен: восточноевропейские страны — малые страны. Они могут себе позволить неудачные экс-

перименты; советская армия поможет им восстановить социализм. Кто спасет социализм в СССР, если его эксперименты окажутся неудачными? — спросил этот чиновник. Советские реформы проходят в совершенно иных политических условиях и условиях безопасности.

Что можно сказать о прошлом советском опыте? Могут ли советские реформаторы извлечь какие-то уроки из него? НЭП 20-х годов, разумеется, единственный пример, который может иметь какое-то значение. По мнению многих западных ученых, возврат к НЭПу был бы для Советского Союза разумным выходом. Можно восстановить частное сельское хозяйство и мелкий частный бизнес в потребительском секторе. Тяжелая промышленность может остаться под контролем государства, а за партией могут быть оставлены "командные высоты" в экономике.

У Горбачева уже был печальный опыт с аграрным производством, когда, будучи куратором сельского хозяйства, он допустил рост частного сектора. На июньском пленуме Горбачев сказал, что этот эксперимент обнажил проблему. Мелкие хозяйства не обеспечивают внедрение в сельское хозяйство новой технологии, что необходимо для общего и долгосрочного улучшения. Далее, теперь серьезные затруднения испытывает промышленный сектор. В 20-е годы промышленный рост шел в основном за счет восстановления промышленности, разрушенной во время войны. Теперь речь идет не о восстановлении, а о структурной перестройке неэффективной структуры всей экономики с промышленным сектором, во много раз превосходящим тот, что существовал в 20-е годы. НЭП попросту не дает удовлетворительного решения проблемы макро-экономики. Он может, конечно, подстегнуть потребительский сектор, как это и было в 20-е годы. Он может легализовать и расширить "вторую" экономику. Но в рамках общей модернизации хозяйства, которую как будто задумал Горбачев, это будет лишь частичная и временная мера.

Энтони Саттон в своем трехтомном труде "Западная технология и советское экономическое развитие" (Станфорд, 1971-73 гг.) установил зависимость между инъекциями западной технологии и скачками в экономическом росте Советского Союза. Торговля с Западом в 20-е годы сопровождалась экономическим ростом 30-х годов. Западная помощь во время Вто-

рой мировой войны и изъятие оборудования из побежденной Германии — ростом 50-х годов. После замедления роста в 60-е годы последовали разрядка напряженности и оживление экономических связей в 70-е. Рост, которого можно было ожидать, был не таким определенным, но в военно-промышленном секторе он был заметным, даже впечатляющим. Существование этой связи, разумеется, недостаточное свидетельство причинной зависимости, но настойчивое стремление Советского Союза поддерживать как можно более интенсивные экономические связи с Западом, которые обеспечивали бы импорт технологии, говорит о том, что советские плановики сами верят в существование этой причинной зависимости.

На фоне этих исторических данных новый советский закон о совместных предприятиях выглядит как еще одна попытка спасти систему централизованного планирования с помощью Запада. Оставим в стороне вопрос об эффективности совместных предприятий — условия, на которых они создаются, внушают пока серьезный пессимизм. Допустим, что дело пойдет. В какой мере это может спасти систему? Если в нескольких ключевых секторах промышленности будут иметь место капиталовложения масштабов Камаза, совместные предприятия создадут ряд очагов экономической эффективности. Они могут дать толчок советской компьютерной промышленности. Они могут помочь развитию техники связи. Они, однако, не помогут решить проблемы эксплуатации энергии, транспорта и использования трудовых ресурсов. Они никак не помогут решить проблему надежности информации и разработки плановых заданий и цен.

Помимо совместных предприятий потребуется, конечно, политический климат, благоприятный для западных кредитов, чтобы возобновившиеся экономические отношения с Западом принесли ощутимые результаты. Если западная помощь окажется значительной, Горбачев сможет добиться того, что существующая система будет работать несколько лучше. Но через несколько лет органические пороки системы вновь дадут себя знать.

День разочарования можно будет отложить, если удастся повысить ответственность бюрократии в министерствах и на предприятиях. Но как этого добиться? В прошлом этого добились с помощью чисток. В периодических чистках кадров

разрушались неформальные группы и клики, возникавшие на местах и сопротивлявшиеся экономическим директивам из центра. Но подобных чисток давно не было. За два десятилетия брежневского правления такие клики и неформальные группы расцвели во множестве. Они снабжают центр статистическими данными и все большую часть государственных ресурсов распределяют в своих интересах. "Вторая экономика" достигла масштабов, по всей вероятности, больших, чем могут себе представить западные исследователи или измерить советские планировщики.

Новым фактором советской политической и экономической жизни стало то, что общий кризис советской системы широко признается не только в кругах элиты, особенно интеллигенции, но также и в высших партийных кругах, среди военных и КГБ. Они видят необходимость перемен и готовы оказать им поддержку. Но как использовать их для этой цели, если не предоставить им возможности определить цели реформы?

Как я уже говорил, ответ Горбачева на этот вопрос — "гласность", "перестройка" и "новое мышление". Для политической элиты гласность означает возможность выразить требования перестройки. Поскольку критика все больше сосредотачивается на бюрократии, включая иногда даже самую высшую, к ней постепенно присоединяется широкая публика. Публика, однако, неспособна обсуждать экономические проблемы на том же языке, что и Аганбегян или Заславская. Критика масс направлена на личности безответственных бюрократов и партийных руководителей. В них широкие массы видят причину всех недостатков. В этом политическом климате Горбачев и его помощники предлагают "перестройку" как решение проблем, не уточняя, что они имеют в виду под "перестройкой" и подразумевая под ней, когда нужно, также и смену кадров на всех этапах бюрократии. Хотя перестройка может предполагать реорганизацию и начало новых процессов в обществе, самый очевидный пока что ее смысл именно в этом — в смене кадров. Иными словами, это чистка, чистка нового типа, обновление кадров, реанимация аппарата и партии.

Можно задать вопрос: почему следует верить, что новые аппаратчики будут вести себя иначе, чем старые? Будут ли? Ответ Горбачева ясен: они будут практиковать "новое мышление". Они порвут с коррупцией, "второй экономикой", не бу-

дут злоупотреблять привилегиями. Опять уместно вспомнить работу Сталина "Основы ленинизма", где он определил "стиль партийной работы" как новую комбинацию "русского революционного духа" с "американской деловитостью".

Если таков план Горбачева, как далеко пойдет экономическая и социальная реформа? Как далеко она может пойти? И тут мы возвращаемся к вопросу: чья это реформа? чей взгляд на будущее лежит в ее основе? чьи экономические предпочтения?

Становится все более и более ясно, что сам Горбачев не имеет в виду системных изменений. Он пытается с замечательной энергией и изобретательностью действовать в рамках той системы, которую ему завещали его предшественники на посту Генерального секретаря. Он борется за то, чтобы вернуть когда-то живой системе жизненные силы, утраченные ею при Брежневле, а отчасти уже при Хрущеве. Если под реформой понимать существенное улучшение уровня жизни и возросшую под защитой закона гарантию индивидуальных прав, то без системных изменений такая реформа не может продвинуться далеко. А системных изменений Горбачев не хочет.

Поэтому то, что мы видим, это политический конфликт между Горбачевым и его союзниками с одной стороны и старой бюрократией с другой. В той мере, в какой Горбачев выиграет и сумеет привести к власти новую бюрократию, более энергичную и готовую выполнять директивы сверху, он сможет замедлить упадок экономики и даже, может быть, улучшить положение в некоторых ее секторах. Чтобы сделать это, он также должен привлечь в больших масштабах ресурсы с Запада. В то же время вырисовывается и другой конфликт между Горбачевым и его союзником-интеллигенцией и другими, кто пользуется преимуществами "гласности", чтобы заявить о своих стремлениях, о своих представлениях о том, какими путями должна идти "перестройка".

Внешние наблюдатели не должны упускать из вида первый конфликт. Однако второй конфликт несомненно гораздо интереснее. Он может оказаться гораздо более важным исторически, если учесть его неконтролируемые последствия.

Неконтролируемые последствия гласности

Политика гласности сделала возможным то, во что большинство специалистов на Западе никак не могло бы поверить. Критика, которая теперь раздается со страниц газет, со сцены, с экрана и во время общественных демонстраций, поистине примечательна. Дискуссия возникает вокруг всех трех критериев системных изменений, о которых мы говорили раньше. Обсуждается система централизованного планирования и назначения цен; расширение и укрепление закона; свобода от цензуры. До сих пор вокруг этих проблем главные события происходят в сфере гласности, лишь предвещая грядущую перестройку. Но уже тот факт, что все эти проблемы обсуждаются, свидетельствует о том, что Советский Союз переживает необычные времена. Фундаментальные трения в обществе подошли близко к поверхности. Эти трения могут коснуться самого существования системы.

Сможет ли руководство заглушить те голоса, раздавшиеся в рамках гласности, которые не согласны с горбачевским представлением о перестройке? Возможно, что да, но трудно представить себе, что крышка будет столь же надежна, как раньше. Можно, вероятно, посадить в клетку широкие массы, но интеллигенция — это другое дело. Горбачев пошел весьма далеко, привлекая интеллигенцию к своей кампании за оживление системы. Мерой того, как далеко он зашел, может служить возвращение из ссылки академика Сахарова и появление его на экранах американских телевизоров. Горбачев приглашает интеллигенцию — в Советском Союзе и за рубежом — присоединиться к его кампании, которая фактически представляет собой чистку бюрократии. Многие, хотя и не все, приняли это приглашение. Если результаты кампании не устроят тех, кто к ней присоединился, как будут они реагировать? Можно ли будет заставить их просто замолчать?

Если Горбачев не захочет вернуться к Большому Террору, он определенно не сможет прекратить активность разочарованной интеллигенции. Поскольку на системные изменения немного шансов, интеллигенция почти наверняка будет разочарована в перестройке, поставив Горбачева перед выбором: либо вернуться к системе репрессий, либо проявить терпимость к беспрецедентному уровню диссидентской активности.

Не вся интеллигенция откажется от режима, в случае утраты иллюзий. Многие останутся с режимом; они будут опасаться риска политической нестабильности в результате смелого перехода к системным изменениям. Они учтут опасности раздробления общества по национальному признаку. Они разделят страх партии утратить имперский контроль в Восточной Европе. Они предпочтут порядок и жесткое утеснение индивидуальной свободы неопределенностям, сопровождающим подлинную политическую трансформацию.

Таким образом, неизбежным, хотя и незапланированным последствием горбачевской политики будут как разочарование, так и поляризация интеллигенции на два лагеря. Один лагерь останется с режимом, вполне солидно аргументируя это тем, что политической альтернативы поддержке режима не существует. Другой лагерь оставит все надежды на постепенные изменения и перейдет в радикальную оппозицию, создавая при этом контр-идеологию и требуя полной ликвидации режима.

Некоторые наблюдатели могут утверждать, что эта поляризация уже началась. Поколение хрущевской оттепели 50-х годов пережило пору надежд, которая кончилась процессом Синявского-Даниэля и вторжением в Чехословакию в 1968 году. Оно склонно к радикализации. Взгляды этого поколения на Западе выражает, например, писатель Василий Аксенов. Другие эмигранты тоже, кажется, разделяют его взгляды: они видят в гласности только попытку заручиться поддержкой интеллигенции, но не новую серьезную для себя возможность. Сахаров и другие в Советском Союзе тоже, возможно, окажутся в полном отчуждении, когда заметят, что Горбачев просто манипулирует ими, и им ничего не удастся добиться для достижения своих собственных целей.

Поляризация интеллигенции в России отнюдь не новое явление. Она имела место в XIX веке в царствование Николая I. Когда при Александре II началась настоящая реформа, в частности ослабление полицейского контроля, радикальная интеллигенция в полной мере этим воспользовалась, чтобы активизировать борьбу против режима, дав автократии основания периодически возвращаться к репрессиям и откровенным полицейским мерам. Радикалы не присоединились к земскому движению. Они не поддержали начавшуюся и многообещающую индустриализацию. Другая же часть интеллигенции поста-

вила свои таланты на службу репрессиям. Так, в начале XX века, когда конституционализм в России имел шансы на успех, оба крыла русской интеллигенции объективно работали против него.

Если этот прогноз будущего политической и экономической реформы в СССР верен, возникает естественный соблазн считать, что история повторяется. Аналогии здесь в некоторых аспектах обоснованы. Но нынешняя ситуация во многом отличается от предыдущих. На этот раз национальные меньшинства гораздо более активны и способны к самовыражению. У них есть своя интеллигенция, и она тоже участвует в процессе поляризации. Теперь судьба Советского Союза тесно связана с судьбой Восточной Европы — этому тоже не было аналогии в XIX веке. Конечно, и тогда была польская проблема, но тогда не было польского государства, а страны Восточной Европы в борьбе с империализмом были разделены на несколько фронтов. Сегодня население Советского Союза поголовно грамотно, и социальная структура общества выглядит совершенно иначе — неизмеримо больше по численности рабочий класс и научная элита, да и сельская жизнь радикально изменилась.

Не следует забывать о потенциальной роли армии. Существует большой и хорошо образованный офицерский корпус, такого технически-культурного уровня, какого не знала ни Россия, ни Советский Союз в прошлом. Останется ли он не затронут расколом в среде интеллигенции? На этот счет о военных известно меньше, чем о любой другой группе советского общества, но можно думать, что последствия раскола глубоко затронут офицерство. Разочарованные офицеры — это совсем не то, что разочарованные ученые, писатели или студенты. Их умение командовать и организовывать дадут радикальному движению взрывной потенциал.

Горбачев привел в движение множество разных сил в Советском Союзе. Пока не видно, чтобы их особенно сдерживали, но если их неожиданно и решительно осадят, "перестройка" погибла. И однако — если им дать "добро", советское общество ждёт все те опасности, о которых мы говорили.

Перевод А. К.

Уильям И. Одом — генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Америки и автор книги "Советские добровольцы: модернизация и бюрократия в массовых общественных организациях" (1973). Статья печатается с любезного разрешения журнала "Problems of Communism".

Н. Кленов

ЧТО ТАКОЕ "ПЕРЕСТРОЙКА"?

Так называемая "перестройка" вызвала в нашем обществе некоторые иллюзии, но, главным образом, среди интеллигенции. Народ к ней равнодушен. Поскольку в ближайшем окружении рабочего и крестьянина ничего не меняется, народ справедливо считает, что все это — еще один способ болтать.

Все же разговоры о "перестройке" не лишены интереса. От хорошей жизни таких вещей не говорят. Что же значат все эти разговоры? Кому они нужны, и что может из этого получиться?

Чтобы в этом разобраться, надо знать, что собираются перестраивать: кто и каким образом соорудил эту перестройку и в каком состоянии она находится сейчас. С этого мы и начнем.

Семьдесят лет назад произошла Октябрьская революция. Ее устроила небольшая партия большевиков, о которых теперь очень мало знают. Эта партия имела вначале такую же программу, как европейские социал-демократы. По учению социалистов, все зло на свете происходит от частной собственности. Социалисты учили, что если отнять заводы и фабрики у капиталистов и отдать их в управление рабочим, отнять землю у помещиков и отдать ее крестьянам, то исчезнет эксплуатация человека человеком, и на земле возникнет счастливое общество свободных людей. У социалистов была прекрасная мечта об этом будущем обществе, но не было практических предложений, как его устроить.

В конце прошлого века в Европе возникли партии социал-демократов марксистского направления, веривших, что их мечты должны осуществиться неизбежно и в близком будущем. Они думали, что это следует из законов истории, которые научно доказал немецкий экономист Маркс.

Большевики отличались от европейских социал-демократов тем, что не слишком полагались на законы истории и на свою пропаганду, а в качестве главного орудия политики из-

брали *власть*. В царской России было мало свободы и много произвольной власти. Поэтому у русских социал-демократов была другая психология, чем у европейских. Из них выделилась часть, не верившая в демократию и возлагавшая особые надежды на революционное насилие. Это и были большевики.

Марксу казалось, что развитие капитализма само собой приведет к победе социализма мирным, парламентским путем. Он никогда не думал, что социализм может посягнуть на политическую свободу, особенно на свободу печати. Но в конце жизни он иногда задумывался, что будет, если капиталисты и помещики не захотят добровольно отдать свое имущество. В одном письме он упомянул, что в этом случае "может быть, придется прибегнуть к чему-то вроде диктатуры пролетариата". На этой единственной фразе Маркса, оброненной в частном письме, Ленин построил все свое учение.

Ленин и большевики плохо понимали, как действует человеческое общество. Общественная жизнь людей, ее экономические и государственные механизмы никем не изобретены, не устроены людьми по плану. Они возникли в ходе истории так же, как живые организмы возникли в ходе биологической революции. Экономическая жизнь и общественные отношения между людьми основаны на исторически сложившемся равновесии сил. Эти силы ограничивают друг друга таким образом, что каждая из них наталкивается в своем действии на сопротивление других сил, возрастающее по мере отклонения от положения равновесия. Это видно на примере равновесия в системе соединенных пружин: чем больше сжата одна из них, тем больше она сопротивляется сжатию, возвращая всю систему к положению равновесия. Этот механизм, понятый еще мыслителями восемнадцатого века, в наше время называется обратной связью. Обратная связь обеспечивает *устойчивость* системы.

В экономической жизни механизмом равновесия является рынок. Если производство какого-нибудь товара чрезмерно возрастает, спрос на него падает и рыночная цена его убывает. Это делает невыгодным дальнейшее производство товара, и предложение его убывает. Когда оно становится меньше спроса, цена снова начинает расти, стимулируя производство. В конечном счете рыночный механизм приводит к тому, что каждый товар производится примерно в таком количестве, сколько нужно для потребления, с небольшим колебанием вокруг равновесия. Рыночное хозяйство — это единственный известный механизм, способный создавать изобилие товаров и предотвратить их излишек, то есть обеспечить *устойчивость* производства и потребления.

Точно так же, в государственной жизни равновесие держится на взаимодействии противоположных интересов. Различные группы населения взаимодействуют таким образом, что нарушение интересов каждой из них вызывает реакцию, тем более сильную, чем сильнее они нарушены. *Устойчивость* государ-

ственного строя обеспечивается игрой этих взаимодействующих сил. В современном обществе такие силы организуются в политические партии, так что многопартийная система — это единственный известный механизм, способный обеспечить безопасность общественной жизни и своевременное принятие необходимых решений.

Нарушение обратных связей всегда приводило к катастрофам. В политической жизни такие нарушения производили диктаторы и завоеватели, такие как Александр Македонский, Чингиз-хан, Наполеон или Гитлер. Когда какой-нибудь действующей силе удавалось подавить и уничтожить носителей противодействующих сил, возникала неустойчивая ситуация — бесконечные войны, раздоры и преследования, лихорадочная борьба за власть.

В новое время такие попытки диктатуры и завоевания все чаще совершались по идеологическим мотивам. Мотивы эти сводятся к стремлению осчастливить собственный народ, как это было у немецких нацистов, или все человечество, как это было в случае большевиков. Но только большевики, впервые в истории, попытались перенести диктатуру в экономическую жизнь.

Маркс понимал значение рыночного хозяйства, но считал этот способ регулирования производства и потребления устаревшим и примитивным. Он считал, что можно добиться лучших результатов путем сознательного планирования: исследовать, сколько требуется каждого товара, и производить, сколько надо. По мнению Маркса, рыночное хозяйство было "анархией производства", бессмысленной растратой производительных сил на конкуренцию производителей. Плановое хозяйство должно было работать лучше, поскольку производители работали бы в полной гармонии между собой, заранее зная, что и в каком количестве им надо произвести.

Маркс не понимал, что экономические механизмы несравненно сложнее изготавливаемых человеком машин и лишь в небольшой степени поддаются планированию. Эти механизмы не выдуманы людьми, а возникли в ходе истории, как животные и растения: можно рассчитать заранее машину, но нельзя спроектировать животное. Маркс не видел этой разницы, полагая, что машина всегда будет работать лучше, чем естественно сложившийся организм. Большевики соединили эту "плановую" установку Маркса со своей, специально русской, национально обусловленной верой в абсолютную власть. Они твердо верили, что, захватив в свои руки власть, смогут ввести в России, а потом и во всем мире, плановое хозяйство. А поскольку, по Марксу, вся общественная жизнь определяется экономической деятельностью ("Бытие определяет сознание"), то и вся жизнь человеческого общества должна была принять планомерный, разумный характер. Человеческая энергия, — думали большевики, — не будет больше растрачиваться на политические раз-

доры: вместе с анархией производства исчезнет и анархия партийной борьбы. Отсюда неизбежно следовала однопартийная система правления.

Таким образом, большевики, и больше всего Ленин, последовательно стремились уничтожить обратные связи, на которых держится *устойчивость* экономической и государственной жизни. Они действовали на основании принятой ими теории, которую считали научной. Но эта теория была ложна, и последствия начали проявляться очень скоро. Прежде всего они проявились внутри самой партии. В 1921 году Ленин провел фатальное для партии решение о запрете фракционной деятельности. Он стремился усилить партию, уничтожить конкуренцию групп и направлений и установить в партии гармоническое сотрудничество. Но запрещение фракций положило конец "внутрипартийной демократии", сделало невозможным открытую защиту личных и групповых мнений и интересов. Открытая политика постепенно исчезала из партийной жизни и сменилась политикой интриг. Так партия большевиков перестала быть политической партией.

В самом конце жизни Ленин заметил крайнюю неустойчивость в работе центрального партийного аппарата и предложил ввести в ЦК сто рабочих "от станка", чтобы помешать раздорам руководства. По-видимому, до того ему никогда не приходило в голову, для чего могут быть полезны парламентские механизмы. Но было поздно, да и вообще ленинская партия была неисправима.

Каким же образом такая партия могла захватить власть в России? Успех большевиков объясняется именно тем, что их партия была исключительно ориентирована на захват власти и готова была принести в жертву этой цели любые другие принципы и интересы. Летом 1917 года Россия, терпевшая тяжелое поражение в мировой войне, потеряла веру в своих правителей. Армия устала от войны и быстро разлагалась. Но все политические партии, поддерживающие временное правительство, не хотели и слышать о сепаратном мире с Германией. Их страшили неизбежные потери территории, измена делу союзников, они надеялись, что немцев разобьют на западном фронте, и это избавит их от необходимости заключать позорный мир. Только одна партия — партия большевиков — готова была заключить мир немедленно, на любых условиях, лишь бы захватить власть. Это дало ей поддержку солдат и матросов и позволило совершить в Петрограде почти не встретивший сопротивления военный переворот.

Ленин плохо понимал экономику и государственное управление, но он был гениальный политический заговорщик. Его способности были разрушительные, а не созидательные: он был лучше всех способен бороться за власть в условиях политической смуты, но имел фантастические представления, как употребить захваченную власть.

Придя к власти, большевики не хотели ее ни с кем делить. Они разогнали Учредительное собрание, отрезав России путь к мирному демократическому развитию. Потом они уничтожили партию левых эсеров, помогавшую им в Октябрьской революции. Они выиграли долгую и кровавую гражданскую войну, потому что значительная часть русских рабочих и интеллигентов поверила их учению и шла за большевиками. Большевики проявили героизм и самоотверженность, но в политике остались беспочвенными фанатиками, плохо понимавшими общественную и хозяйственную жизнь. Когда эта жизнь им не давалась, они применяли единственное средство — власть. Так родился "красный террор".

После гражданской войны хозяйственная разруха и голод поставили большевиков перед катастрофой. Более гибкие элементы их партии поняли, что без политических уступок будет потеряна власть. Троцкий предложил Новую экономическую политику — НЭП — и Ленин, после упорного сопротивления, принял ее. По этой политике крестьянам разрешалось продавать на рынке продукты (которые у них раньше просто отбирали), разрешалась мелкая торговля, ремесло и небольшие частные предприятия. Прививка частной инициативы оживила русскую экономику. Крестьяне сохраняли свои наделы и работали на своей земле. Голод прекратился. Таким образом, большевики, сами не умевшие хозяйничать, допустили "элементы капитализма". Пока они были у власти, сохранялся НЭП.

Чтобы управлять Россией, большевики создали государственный аппарат. Старый аппарат власти был уничтожен, и старых чиновников изгнали. Требовались сотни тысяч новых государственных служащих. Старых большевиков было на всю Россию несколько тысяч. Аппарат заполнили люди, примкнувшие к большевикам уже после захвата власти. Старые большевики боролись с царским правительством и не имели личной выгоды от своей партийной работы. Поэтому старые большевики были люди, действовавшие не в личных интересах, и большинство их после захвата власти сохранило эту бескорыстную установку. Новые коммунисты пришли в готовый аппарат власти и могли получить от нее личные выгоды. Они создавали себе преимущества и пользовались ими. Так возник новый правящий класс — советская бюрократия.

Новые партийные чиновники происходили из всех слоев общества, но больше всего из мещанства. Они прикрывались рабочим и крестьянским происхождением, но очень скоро причулись жить и вести себя по-барски. Возник конфликт между старыми большевиками и их новым бюрократическим аппаратом. Ленин отчаянно боролся с бюрократизацией и видел, что терпит поражение.

Партийный аппарат превратился в новый правящий класс, не имевший себе подобных в истории. Он вынужден был сохранить большевистскую идеологию и не мог снова ввести частную

собственность. Поэтому бюрократия стала владеть всем государством, как своей коллективной собственностью. Народы России попали в зависимость от этого нового правящего класса, не имевшего никакого опыта государственной власти, состоявшего из невежественных, малограмотных людей, без воспитания, чувства чести и моральных правил. Этот правящий класс был гораздо хуже правящего класса старой России. Его возглавил малоизвестный до революции Джугашвили (псевдоним — И. Сталин), авантюрист с темным прошлым и, по весьма убедительным данным, бывший агент царской охранки.

Большевики мешали новому правящему классу. Они все еще занимали ключевые посты в партии и принимали всерьез все пункты партийной программы: преследовали личное обогащение, воровство и взятки, мешали подбирать местные клики, и вдобавок сохраняли влияние среди части заводских рабочих и в Красной Армии. Их было мало, но за ними была история революции и гражданской войны, они способны были на решительные меры и представляли личную опасность для каждого из новых бар, заполнивших партийный аппарат. Конфликт был неизбежен.

В двадцатые годы большевики перессорились между собой. После смерти Ленина у них не было признанного вождя. Идейные расхождения между ними сопровождалась яростной борьбой за власть. Так лидеры большевиков — Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков — ослабляли друг друга, облегчая интригану Сталину его собственную борьбу за власть.

Сталин подбирал себе кадры и готовил переворот против большевиков. Он опирался на новых коммунистов, которых можно было подкупить и соблазнить посулами карьеры. Вступая поочередно в сделки с большевистскими лидерами, Сталин извлекал выгоды из их раздоров. В 1927-28 годах он был уже достаточно силен, чтобы удалить старых большевиков из партийного руководства. Они слишком поздно поняли, что их перехитрил человек, не имевший никаких правил. Все диктаторы достигают своей цели, потому что их не стесняют никакие принципы и программы.

Наш нынешний правящий класс происходит не от большевиков, а от их убийц. Это не значит, что большевики были чисты и невинны. Они начали систему незаконной расправы с политическим врагом — террор.

●
"Сталинский режим", установившийся с 1928 года, был во многих отношениях беспримерным явлением в истории. Октябрьская революция, в отличие от всех прежних революций, уничтожила частную собственность и передала всю экономику в управление государственному аппарату. Это дало новому правящему классу абсолютную власть над жизнью и смертью всех жителей страны. Считалось, что все решения принимаются партией коллективно — ее съездами и выборными органами. Но

после сталинского переворота "внутрипартийная демократия" прекратилась: Сталин использовал запрещение фракций для удушения партийной жизни. С этих пор коммунистическая партия была партией лишь по названию. Прекратились споры, исчезли личные мнения, и все должны были повиноваться решениям руководства. Очень скоро оказалось, что решения принимает один человек: началась сталинская диктатура.

Диктатор должен был, конечно, пользоваться услугами людей. Те, кто ему служил, интриговали и боролись за влияние, демонстрируя свою преданность диктатору и готовность выполнить его волю. Это была борьба без правил и ограничений, поскольку в партии исчезло всякое организованное сопротивление, а вне партии сопротивление было уничтожено гражданской войной. Такая система власти была крайне неустойчива. Политика диктатора, спускаясь по каналам управления, не встречала ограничений, а, напротив, безудержно усиливалась, превращаясь в лавинообразный процесс. Сам диктатор узнавал о том, что происходит, когда уже наступала катастрофа. К несчастью, и в этом случае его реакции были случайны и бессмысленны: Сталин был панически труслив перед прямой опасностью и психически болен — в нем постепенно развивалась паранойя.

Первой катастрофой была "коллективизация". Большевики не решились посягнуть на крестьянскую землю. У Ленина был "кооперативный план": он рассчитывал постепенно вовлечь крестьян в кооперацию и приучить их сообща пользоваться машинами. Это должно было со временем уничтожить крестьянскую частную собственность, оставшуюся опасным чужеродным телом в советской системе. Конечно, ленинский план не мог привести к успеху, потому что крестьяне добровольно не отдали бы свою землю ни за какие посулы властей. Но Ленин боялся применить насилие к самому многочисленному классу страны. Он помнил, что такие методы во время гражданской войны вызвали голод.

Сталин не извлек уроков из прошлого и не предвидел возможных последствий. Он боялся крестьян и решил разгромить русское крестьянство, применив единственно понятное ему средство — террор. Уже через год после установления диктатуры, в 1929 году, он начал всеобщую принудительную коллективизацию. С хитростью провокатора он бросил против крестьян 25 000 рабочих-партийцев, рассчитывая, что мало кто из них вернется из деревни, и ему не придется искоренять на заводах последышей большевиков. Вряд ли надо объяснять, чем была для русского крестьянства коллективизация: уже и сейчас можно прочесть в газетах, что это был "погром". Десять миллионов самых трудолюбивых, самых хозяйственных крестьян погибли в сибирской тайге. Это число подтвердил в разговоре с Черчиллем сам диктатор. В деревне установился всем известный колхозный строй. По существу это было худшим ва-

риантом крепостного права. Формальным выражением порабощения крестьян был запрет выезжать из своего колхоза: до шестидесятых годов крестьяне не имели паспортов. Коллективизация отучила крестьян самостоятельно работать на земле. Несмотря на применение машин производительность сельского хозяйства резко упала. Принудительные поставки продуктов обрекали крестьян на полуголодную жизнь.

Второй катастрофой была "индустриализация". Чтобы сделать Советский Союз современной промышленной державой и укрепить его военную мощь, Сталин начал строить тяжелую промышленность. Он закупил за границей, главным образом в Америке, оборудование автомобильных, тракторных, подшипниковых и других заводов, которое монтировалось под руководством американских инженеров. Чтобы добыть для этих покупок валюту, отнимали продовольствие у крестьян и продавали его за границу по ценам ниже уровня мирового рынка ("демпинг"). От этого миллионы крестьян умерли с голоду: на Украине число жертв оценивается в 6 миллионов. Были проданы из Эрмитажа ценнейшие картины, украшающие теперь Вашингтонскую национальную галерею. На стройки первых пятилеток были направлены комсомольцы-энтузиасты и первые эшелоны заключенных. Для руководства индустриализацией Сталин использовал энергию большевиков, которых потом расстрелял.

Курс на "преимущественное развитие тяжелой промышленности" означал полное невнимание к потреблению. В стране не хватало одежды, обуви, простейших товаров повседневного спроса. Безудержное строительство тяжелой промышленности стало самоцелью: таким образом зародилась система, которую иностранцы называют "производство без потребления".

Коллективизация и индустриализация совершались без учета экономических потребностей и возможностей. Результаты формально оценивались по валовому производству металла, топлива, энергии, зерна и т.п., и по процентам приращения этого производства. Когда продукт был не очень важен, приращение достигалось совсем просто: так, Сталин распорядился уменьшить ширину тканей, от чего сразу же повысилось их производство в метрах длины. Такова была система "планового хозяйства", которую теперь неуважительно называют "административно-приказной". Конечно, она продолжается и по сей день.

Третьей катастрофой был "Великий террор". Сталин панически боялся уцелевших большевиков, хотя все сколько-нибудь видные партийные вожди были уже изгнаны из аппарата, деморализованы и не опасны. Но среднее звено партийного аппарата ему не доверяло и хотело его устранить. На XVII съезде партии, в 1934 году, большевики собирались заменить Сталина Кировым, более уравновешенным и лояльным по отношению к партии. Зная Сталина, большевики хотели сделать это внезап-

но, поставив его перед свершившимся фактом. Но Киров, веривший Сталину, выдал ему этот план. 1 декабря того же года Киров был убит по приказу Сталина, видевшего в нем опасного соперника. После XVII съезда Сталин был охвачен страхом перед большевиками и стал готовить расправу над ними.

Сталин особенно боялся большевиков, командовавших Красной Армией. Есть сведения, что они готовились его устранить, но не успели ничего сделать. К 1937 году Сталину удалось преодолеть сопротивление Политбюро, не согласного на расстрелы членов партии. Для этого он велел тайно убить своих главных оппонентов, Куйбышева и Орджоникидзе. В 1937 году Сталин начал полное истребление старых большевиков. Они уничтожались под названием "врагов народа". Были расстреляно 80% делегатов XVII съезда, и было полностью истреблено все командование армии. "Репрессии", проводимые безответственными угодниками Сталина, приняли характер психической эпидемии. Больше половины членов партии пошло в лагеря уничтожения, а за ними — миллионы людей, не имеющих никакого отношения к политике. Палачи Сталина выбирали тех, кто чем-нибудь выделялся, чтобы стряпать мнимые "заговоры" и "организации" с участием видных людей. После массовых посадок в 1937—38 годах лагеря постоянно пополнялись, так что их живое население все время составляло около 15 миллионов. Общее число погибших оценивается в 30-40 миллионов (не считая жертв коллективизации и войны). Поскольку в качестве "врагов народа" выбирались наиболее видные люди, от террора больше всего пострадали интеллигенция и культурный слой городского населения. Можно предполагать, что "Великий террор" нанес тяжелый ущерб генетическому фонду нашего народа, что уже сказалось и еще скажется на будущих поколениях.

Четвертой катастрофой была мировая война. Несмотря на "индустриализацию" проведенную ценой голода, расстрелов и принудительного труда, вторая мировая война застала Красную Армию в слабом состоянии. Начатое техническое перевооружение армии не было завершено, граница не была укреплена, а командование было полностью истреблено и заменено кем попало. Сталин пытался отвести от себя опасность, заключив союз с Гитлером. Немецкий диктатор купил его, уступив ему восточную часть Польши и Прибалтику. Сталин усердно снабжал Германию военными материалами и продовольствием. Но Гитлер недооценил трусость Сталина. Он готовился к вторжению в Англию и боялся удара в спину. Поэтому он решил сначала устранить "русскую опасность", на что, по расчетам его генералов, требовалось от 4 до 6 недель. Война затянулась вследствие неожиданного упорства русских солдат, обширности территории и ошибок самого Гитлера. Прямые военные потери Советского Союза составили не менее 20 миллионов. Во время войны Сталин, спасая свою власть, меньше расстреливал генера-

лов. Они были неопытны и учились в ходе войны — нетрудно понять, какой ценой.

После войны, оставившей нашу страну в развалинах, наступил голод. Работающие получали по карточкам 400—600 граммов хлеба, иждивенцы — 200 граммов. Деревня, уже опустошенная войной, вымирала. В эти годы Сталин, получив в свои руки атомную бомбу, задумал начать третью мировую войну. Он спровоцировал войну в Корее, где советскую агрессию остановили американцы. Дальше он планировал расширение войны, нападение на Западную Европу. Этому должна была предшествовать новая кампания террора внутри страны, первыми жертвами которой были намечены евреи и интеллигенция. В ходе кампании Сталин хотел отделаться от своих "соратников", старых членов Политбюро, научившихся контролировать аппарат власти и, по-видимому, блокировавших его в последние годы. К тому времени он был уже почти невменяем и месяцами не показывался, запершись в своих убежищах. Это облегчало задачу "соратников", пытавшихся спасти свою шкуру.

В конце февраля или в начале марта 1953 года Сталин умер. Официальная дата (5/III) и обстоятельства его смерти недостоверны. По наиболее вероятной версии, на заседании Политбюро, где Сталин предлагал начало нового террора и мировой войны, он впервые натолкнулся на открытое сопротивление своих "соратников", после чего с ним произошел удар, и его оставили умирать без медицинской помощи. Пятая катастрофа не состоялась.

Такова история нашей страны до 1953 года. Она может показаться невероятной, на каждый этап ее запечатлен кровью миллионов. Та же история повторилась в общих чертах в Китае, где был свой Сталин по имени Мао. Недоверие будущих историков рассеют документы. Что касается людей, искренне веривших в партию и Сталина и не желающих пересматривать свою жизнь, то им уже нельзя помочь.



Соратники Сталина, придя к власти, устранили самые скандальные затеи диктатора, но никак не могли поделить между собой власть. Больше всех им был страшен Берия, контролировавший аппарат МВД (нынешнее КГБ). Этот человек хотел стать диктатором и готовился уничтожить всех других "соратников". Членам Политбюро удалось обмануть его и убить. Затем был снят с должности Маленков, носивший сталинский френч и оседлавший аппарат ЦК. Больше всего члены Политбюро боялись, как бы кто-нибудь из них не стал диктатором и не принялся уничтожать остальных. Они выбрали самого безобидного и глупого из них, Хрущева, и посадили его на место первого секретаря. Но Хрущев оказался не так прост, как они думали. Он воспользовался тем, что старые "соратники" были запятнаны террором больше него, и разоблачил сталинские пре-

ступления, чтобы их ослабить. На двадцатом съезде он произнес "секретный" доклад, на следующий день опубликованный во всем мире. В нашей стране его только читали на собраниях, но до сих пор не решаются напечатать. В этом докладе Хрущев признал самые известные преступления Сталина и привел подтверждающие их факты. Он освободил также уцелевших политзаключенных. Вскоре Хрущев изгнал "соратников" и стал чем-то вроде диктатора (1957 г.).

Настоящий диктатор из него не вышел, потому что коллеги по Политбюро, отдавая ему почести, контролировали его и, в конце концов, в 1964 году сумели его снять. Смысл двадцатого съезда был в том, что партийная верхушка — члены Политбюро, ЦК, секретари обкомов, министры — получили гарантии, что их не будут расстреливать и, без крайней надобности, не будут снимать с их постов. Эти господа не хотели больше дрожать по ночам, ожидая, что за ними приедут; они хотели мирно наслаждаться своими привилегиями. "Хрущевский договор" соблюдается и до сих пор. Но Хрущев, получивший власть на этих условиях, не мог убивать, а кто не может убивать, тот не диктатор.

Хрущев пытался провести реформы, главной из которых была децентрализация промышленности и уменьшение власти министерств, но его убрали, и министерское управление было восстановлено. Главным результатом эпохи Хрущева было ослабление страха и некоторое оживление культурной жизни: в это время не было массовых репрессий.

С 1964 по 1981 год нашей страной правила клика "младших соратников Сталина", убравших Хрущева. Они выбрали генеральным секретарем самого безобидного и глупого из них — Брежнева. В отличие от Хрущева, Брежнев не проявлял энергии и довольствовался внешними признаками власти. Главным закулисным заправилкой был при нем — по крайней мере, до последних его лет — некий Сулов, один из последних кровавых приспешников Сталина. Брежнев, давший имя этой эпохе, был пьяница, как и Хрущев, но лишенный всякой индивидуальности и еще более невежественный. Хрущев мог импровизировать пьяный бред, но Брежнев всегда читал, что ему написали на бумажке.

Брежневская эпоха, когда сложился нынешний государственный строй, была временем застоя — окаменения общественного движения. Всякое движение в государстве прекратилось. Наши правители потихоньку грызлись между собой и изредка кого-нибудь выгоняли, но в общем все чиновники сидели на своих местах, стараясь не мешать другим. Практически это означало "китаизацию" страны: члены Политбюро, министры, первые секретари обкомов превращались, как в Китае, в нечто вроде удельных князей, несменяемых и безнаказанных, пока не происходил какой-нибудь междуусобный скандал. В Ленинграде некий Толстиков, даже не член Политбюро, но пер-

вый секретарь обкома, не пускал на экраны фильмы, шедшие в Москве: отсебятина, неслыханная до тех пор. Партийные кадры поняли сложившееся положение, как право красть в меру служебного положения, а эта мера менялась в сторону того, что теперь стыдливо называется "вседозволенностью". Брежнев крал больше всех.

Выполнение планов все больше превращалось в бумажное надувательство. Положение чиновника зависело не от работы его ведомства, а от его личных связей. Главной особенностью хозяйственного развала в брежневскую эпоху было обособление отдельных ведомств и отмирание связей между ними. Постепенно деятельность всех отраслей государственной жизни принимала механически бессмысленный характер. На международных встречах Брежнева высмеивали за спиной. Его коллеги, по-видимому, были этим довольны.

Средний возраст членов Политбюро подходил к восьмидесяти годам. Многие из них превратились в беспомощных старцев, потеряв даже бывшие у них прежде скромные способности. По стране ходили анекдоты о "реанимации в Кремле".

Трудно сказать, кто и зачем затеял афганскую авантюру, начатую в то время. Скорее всего, члены Политбюро даже не могли найти на карте Афганистан и впутались в это дело, вообразив, что Афганистан уже входит в советский блок. Нетрудно понять, какую консультацию могли им дать генералы, возглавлявшие их военный аппарат. Брежневскую эпоху проще всего описать медицинским словом — *маразм*.

Брежнев умер, трудно сказать, своей смертью или нет. Может быть, его не стали в очередной раз реанимировать. За ним пришел к власти Андропов, председатель КГБ. Это был первый случай, когда генеральным секретарем стал человек из ведомства, внушающего страх партийному руководству и потому мало подходящий для дальнейшей карьеры. По-видимому, "автором" Андропова был Суслов, под конец не ладивший с Брежневым и устроивший против него интригу. Суслов умер, а Андропов все же стал генеральным секретарем. Его программа заключалась в замене скомпрометированных партийных кадров чистыми, незапятнанными кадрами КГБ. Вообще, Андропов знал только один метод, применяемый в его учреждении — "тащить и не пущать". Но ему не дали развернуться. Он был опасен для партийных кадров, и его пришлось убрать. Скорее всего, это сделал назначенный им в КГБ Чебриков, его бывший кадровик, который был за эту услугу щедро награжден.

Преемником Андропова стал Черненко, полный тупица, бывший собутыльник Брежнева в Молдавии. Он никому не был опасен, и поэтому стал генеральным секретарем. При Черненко брежневские кадры снова спокойно вздохнули. Можно было ничего не делать и красть. Вместо Сулова за спиной генерального секретаря стоял Громыко, всегда занимавшийся не иностранными делами, а внутренними делами Политбюро. Гро-

мыко подавал знаки Черненко, когда говорить и куда повернуться. Брежневский маразм мог продлиться еще долго, но Черненко умер, и пришлось снова выбирать генерального секретаря. Выбрали Горбачева, который казался достаточно безопасным. Но к тому времени в партийном аппарате образовался уже серьезный раскол.

●

В сущности, после Брежнева в нашей системе почти ничего не изменилось. Здание, которое теперь хотят перестраивать, это постройка брежневских лет; казалось бы, она слишком хорошо известна, чтобы надо было ее описывать: ведь мы все еще в ней живем. Все же будет полезно перечислить основные черты этой системы, хотя бы для того, чтобы уяснить себе, насколько она зашла в тупик. Могло бы показаться, что эта система, в отличие от сталинской, устойчива: в ней как будто бы нет массовых репрессий, и вообще не происходит никаких катастроф. Как мы увидим, катастрофа происходит как раз сейчас, и мы все в ней участвуем.

Народное хозяйство нашей страны оторвано от потребностей народа и, по существу, перестало быть народным, а превратилось в бюрократическое хозяйство. Потребности населения стоят в этом хозяйстве на втором плане и удовлетворяются из остатков предприятий первого плана, которым во всем предоставляется приоритет. Все имеющиеся ресурсы — материалы, транспорт, валюта и рабочая сила — предоставляются прежде всего на строительство и эксплуатацию военной промышленности, о чем стыдливо умалчивают крикливые журналисты "перестройки". В этой области производства не действуют никакие экономические соображения: чтобы догнать далеко ушедшую вперед военную технику Запада, допускаются любые затраты, и брак может быть во много раз больше исправной продукции. В военное производство направляют всех наиболее способных инженеров, почти всю одаренную молодежь. Но все эти лихорадочные усилия ни к чему не ведут: соревнование с Западом мы проиграли. Никакие угрозы, никакое надувательство не могут изменить того факта, что мы безнадежно отстали во всех видах промышленности, от которых в особенности зависит военная мощь: в машиностроении, строительстве, электронике, радиотехнике, и больше всего в вычислительной технике, справедливо рассматриваемой как мозг современной техники. Чтобы могли летать наши ракеты и военные самолеты, покупают за бешеные деньги у посредников устаревшие компьютеры, снимают компактные вычислительные узлы со стиральных машин и с детских игрушек. Но никакие ухищрения не помогают, когда речь идет о новейших видах военной техники. У нас нет крылатых ракет, нейтронных бомб, современных космических кораблей многократного пользования. Точно так же, как прежде победу в войне давало превосходство в воздухе, в будущей

войне победит тот, кому принадлежит космос. В этом соревновании у нас нет шансов. Дело даже не в том, что на такие программы у нас неоткуда взять средства: у нас нет *технического умения*, потому что наша техника отстала на целый исторический период.

Во всех случаях, когда советская военная техника сталкивалась с западной, она оказывалась битой. Во время боев во Вьетнаме и на Ближнем Востоке советское оружие было полностью скомпрометировано. Мы перестали быть великой державой, и в этом одна из причин, толкающих партийный аппарат к "перестройке".

Бессмысленное военное соревнование с Западом высасывает все соки из нашего хозяйства. Но не менее важна установка на "преимущественное развитие тяжелой промышленности", сохранившаяся в неизменном виде со сталинских времен. Предполагается, что тяжелая промышленность должна быть основой военного производства, и в то же время легкой промышленности, работающей на народное потребление. Но строительство тяжелой промышленности у нас не связывается с реальными потребностями в ее продукции, а представляется некоей чуть ли не религиозной догмой. Например, планируется как можно большее производство металла, который затем бессмысленно гибнет в громоздких конструкциях, а чаще просто ржавеет под открытым небом. Предприятия тяжелой промышленности строятся десятилетиями и очень часто бросаются недостроенными, когда же их достраивают, то оказывается, что их продукция годится лишь в музей по истории техники. Деятельность наших планировщиков и строителей, не меняющаяся со времен первых пятилеток, носит тот же отпечаток массовой психической эпидемии.

Средства, оставшиеся от военных и престижных предприятий, вкладываются в легкую промышленность. Но и здесь сплошь и рядом получается "производство без потребления". Поскольку рынок не имеет обратной связи с промышленностью, чиновники из Госплана произвольно решают, что и как производить. Образуется дефицит самых необходимых, иногда простейших товаров, и в то же время продолжается безумное производство вещей, не находящихся сбыта. Так как советских товаров не берут, приходится импортировать иностранные, затрачивая на это валюту; покупают по бросовым ценам, а продают по произвольным. Иностранные товары часто превращаются в привилегию для начальства.

Сельское хозяйство у нас намертво связано с колхозной системой, исключающей материальную заинтересованность и давно отучившей людей серьезно работать на земле. Вообще, специфика сельского хозяйства требует непосредственной связи крестьянства с определенным участком земли: лишь в этом случае он может изучить и использовать особенности почвы, меняющиеся от места к месту, и лишь в этом случае он заинтере-

ресован в улучшении земли. Поэтому во всех развитых странах сохранилось индивидуальное фермерское хозяйство, хотя, разумеется, с новым техническим оснащением. Другим типом сельского хозяйства является плантационная система, в которой большие земельные площади, принадлежащие крупному землевладельцу, обрабатываются коллективным трудом работников, получающих за это какое-нибудь вознаграждение. Как показал опыт, плантационная система окупается лишь при условии использования рабского труда, да и то лишь для некоторых культур и в особо выгодных климатических условиях. В настоящее время этот способ земледелия в развитых странах практически исчез. Колхозное земледелие представляет собой попытку возродить плантационную систему. Ясно, что колхозники не более заинтересованы в своей работе, чем были когда-то чернокожие рабы. Но, в отличие от плантаторов, коллективный собственник земли, партийный аппарат — также не особенно заинтересован в сельском хозяйстве, поскольку положение бюрократа зависит преимущественно от его связей и от выполнения принятых формальностей. Какие при этом получают результаты, нетрудно понять. Серьезные усилия деревенского населения направлены на личное хозяйство и так называемые "приусадебные участки", за счет которых еще могут существовать базары. Что касается полевого хозяйства, то оно ведется таким образом, что приходится ежегодно покупать по контрактам зерно в Соединенных Штатах и Канаде. Таким образом, Россия, прежде *вывозившая* зерно и кормившая своим хлебом Европу, теперь зависит в поставках хлеба от американских фермеров, а в случае политических осложнений нас может оставить без хлеба американский президент.

Чтобы не оказаться без хлеба, мы тратим на импорт зерна большую часть наших скудных валютных поступлений. И очень важно отметить, что у нас нет хлебных резервов, без которых нельзя вести длительную войну. Сталин накопил в свое время хлебные резервы — известно, какой ценой, — и этим хлебом страна жила во время войны. Теперь мы зависим от хлебных поставок нашего потенциального противника, который все это хорошо знает.

Вряд ли надо напоминать, как у нас работает транспорт. Достаточно заметить, что "скорые" поезда идут теперь вдвое медленнее, чем до революции, так что у нас есть теперь только медленные поезда, а почта идет в 3-4 раза дольше, чем шла до революции.

Через 70 лет после Октябрьской революции рабочий может купить на свой заработок в 1,5—2 раза меньше одноименных продовольственных и промышленных товаров, чем до первой мировой войны. Но это сравнение может ввести в заблуждение, поскольку в то время не было химической фальсификации пищевых продуктов и синтетических изделий. По существу уровень жизни рабочего снизился еще больше, поскольку про-

изошло резкое ухудшение "качества жизни" за счет самых важных предметов потребления, вплоть до таких, как вода и воздух.

Страна живет на грани голода. Искусственно поддерживается снабжение Москвы, в некоторых местах введена под новым названием карточная система на масло и мясо. Предстоит резкое повышение цен, которое сразу же вызовет рост цен на базарах. Доброкачественные продукты почти невозможно достать даже по рыночным ценам.

Следствием этой системы хозяйства является социальная катастрофа, размеры которой мы плохо осознаем. Состояние здоровья народа начало беспокоить уже даже наших бюрократов, потому что до 50% новобранцев оказываются негодными к военной службе (при крайне облегченных медицинских требованиях), и потому что болезни простых людей, оказывается, снижают производительность труда. Наше начальство постепенно усваивает, что поддержание здоровья населения стоило бы меньше этих потерь, но до практических выводов еще далеко: на практике продолжается лагерный подход, предполагающий, что эзков всегда хватит.

Медицинское обслуживание населения, кроме привилегированной верхушки, превратилось в видимость. Нет знающих врачей, нет современных лекарств и медицинской техники. Тяжелые болезни у нас не лечат, а всем не занимающим положения в аппарате попросту предоставляют умирать. В итоге катастрофически выросла заболеваемость и смертность, особенно среди взрослых мужчин. Детская смертность резко повысилась из-за преступного гигиенического состояния родильных домов, превратившихся в рассадники заразы. В стране практически отсутствует квалифицированная помощь психически больным при непрерывном росте психических болезней. Трудно даже оценить, насколько отстала наша медицина от мирового уровня; для простого человека медицины у нас просто нет.

В течение десятилетий от народа скрывают состояние "окружающей среды". Лагерная установка нашего начальства привела к превышению в десятки и сотни раз предельных норм загрязнения воздуха и воды. Среди отравленных веществ, спускаемых в реки и озера, находится множество химических и радиоактивных соединений, не воспринимаемых на вид и на вкус. Начальство приучилось к тому, что народ можно безнаказанно травить. Попытки некоторых ученых разоблачить эту практику привели к их политическому преследованию. Чернобыльская катастрофа — не первая: она стала известна, поскольку ее последствия сказались за рубежом. Она служит предостережением. Наши безумные планировщики расположили атомные электростанции возле больших городов, а техника безопасности на этих станциях работает так же, как всякая другая техника в этой стране.

Чтобы страна могла выжить в нынешнем сложном мире,

нам нужны образованные люди — знающие и добросовестные врачи, инженеры, агрономы, учителя. Но система образования полностью развалилась. Среднее и высшее образование превратилось в бюрократические процедуры, не дающие серьезных знаний, и еще меньше умения их применять. Моральное развитие молодежи подорвано системой надувательства и коррупции, рабским унижением учителей. Наконец, престиж образованного человека подорван его нищенской зарплатой. Мы — единственная в мире страна, где специалист с высшим образованием получает в 2-3 раза меньше рабочего. Может ли он быть командиром производства? Иностранцы находят это смешным.

Наука в нашей стране также превратилась в бюрократический аппарат. Академиками выбирают чиновников, назначаемых директорами институтов. Мы не производим современных научных приборов, и очень мало ввозим из-за границы. Впрочем, лучшие и новейшие приборы вообще не продают — на них выполняют исследования. Наша экспериментальная наука может лишь заполнять щели в строящемся здании мировой науки. Небольшое число теоретиков, все еще успешно работающих, ориентируются на иностранные журналы. В общем, в мировом научном процессе мало что изменилось бы, если бы у нас вовсе не было науки. Благодаря старым ученым и инженерам у нас были достижения в атомной и космической технике, но теперь мы далеко позади.

Само собой разумеется, что у нас нет наук о человеке и обществе — гуманитарных наук. Нам запрещают знать прошлое, особенно близкое прошлое нашей страны. Нам запрещают знать какую-нибудь философию, кроме карикатуры на философию Маркса. Нам запрещают знать, что такое право и закон. От нас скрывают важнейшие книги зарубежных авторов, запирая их в секретные фонды библиотек. Поэтому у нас уже почти нет людей, понимающих, как действует современное государство, знакомых с конституциями развитых стран и даже попросту хорошо владеющих иностранными языками. Нами правят малограмотные люди, читающие речи по бумажке — чего иного можно от них ожидать, кроме принудительной малограмотности для всех?

Такова картина нынешней жизни нашей страны. Так видит ее гражданин не равнодушный к судьбе своего отечества, своего народа, своей культуры. Но почему встревожились наши аппаратчики-рабовладельцы?

Им не спится потому, что шатается их власть. Численность нашего управленческого аппарата оценивается в семнадцать миллионов. Это люди, не занятые ни в каком производстве и ничего не умеющие делать, кроме выполнения установленных бюрократических процедур. Всякий бюрократический аппарат подчиняется общим социологическим законам, и главный из них — это так называемый "закон Паркинсона", нередко служащий темой для юмористических разговоров, но выражающий

очень серьезную, в наших условиях трагическую действительность. По закону Паркинсона, бюрократический аппарат имеет тенденцию к безудержному росту, а по мере роста все меньше взаимодействует с окружающей средой, сосредоточиваясь на своих внутренних проблемах. В наших условиях это означает, что партийный аппарат власти, разросшийся до невиданных в истории размеров, почти потерял контакт с человеческим обществом, которым он пытается управлять, и весь погрузился в свои внутренние распри. В особенности это относится к центральным учреждениям — Политбюро, аппарату ЦК и министерствам, способным взаимодействовать лишь с низшими звеньями собственной бюрократической машины.

Но действительность окружающего мира настойчиво заявляет о своем существовании, и ее невозможно дальше игнорировать. Ни один бюрократический аппарат не вечен. Все они рано или поздно рушатся под давлением внешнего окружения, и наша "партократия" не может быть исключением. Ей угрожают опасности и вне, и внутри страны.

Существует большая часть Земного шара, не подчиненная политбюро. В этом независимом внешнем мире главную роль играют западные страны, возглавляемые Соединенными Штатами. По традиции — или, лучше сказать, по инерции, сохранившейся со сталинских времен, — наше руководство продолжает безнадежно "соревнование" с Западом за военное и политическое преобладание на Земле. Сталин, стремившийся к внешним завоеваниям, был остановлен твердым сопротивлением американцев и их союзников, сначала в 1948 году при попытке захватить Западный Берлин, а затем в корейской войне. После этого не осталось никаких шансов на мировое господство, и наши партийные господа не предпринимали уже серьезных попыток в этом направлении. Но у них осталась установка на "конфронтацию" с Западом и высокая самооценка: они привыкли думать, что возглавляют "сверхдержаву", и считают себя обязанными поддерживать этот сверхдержавный престиж. Ученые дали им в руки атомное оружие, взяв на себя тяжкую моральную ответственность: основные разработки для бомбы хиросимовского типа (1949 г.) выполнили Зельдович и Харитон, а для водородной бомбы (1954 г.) — Тамм и Сахаров. Наши безответственные правители использовали это оружие для шантажа.

В прежние времена государство, столь далеко отставшее в экономике, технике и организации, было бы очень скоро разгромлено в войне, от чего разрушился бы его общественный строй. Причина, позволяющая нашим хозяевам мирно управлять страной и даже устраивать некоторые внешние авантюры.

От атомной бомбы в *принципе* не может быть защиты. Защита от всякого оружия не гарантирует безопасность каждого отдельного человека, но уменьшает число попаданий. При эффективной защите число убитых будет невелико, и уцелевшие

смогут продолжать войну. Но при атомной бомбе *одно* попадание — например, в Нью-Йорк — может сделать продолжение войны бессмысленным, потому что никакие победы уже не исправят случившегося. Особый характер атомного оружия в том, что опасность одного-единственного попадания гораздо страшнее любого поражения в традиционной войне. Самая совершенная защита (которой пока нет и неизвестно, когда она будет) не может гарантировать от единственных попаданий — это физически невозможно. Если из 2000 устаревших, плохо сделанных советских ракет *одна* попадет в Нью-Йорк, это будет означать для Запада катастрофу. Вот почему Советское правительство, не способное соревноваться с Западом в производстве современного оружия, может шантажировать Запад.

На Западе знают, что советское руководство трусливо и лишено инициативы, но все еще опасаются, что оно может начать атомную войну по глупости, в припадке страха, или просто по неисправности контрольных механизмов, как в чернобыльской катастрофе. Реальная опасность не столь велика, потому что запуск ракет, и особенно зарядание атомных боеголовок, делится на последовательные операции, недоступные непосредственным исполнителям без особой процедуры, запускаемой сверху: в этом случае ее вряд ли запустят, поскольку в атомной войне даже начале у не удалось бы спасти свою шкуру. Поэтому страх перед советской атомной бомбой значительно больше в широкой публике, чем в осведомленных правительственных кругах. В общем, в настоящее время возникновение большой атомной войны весьма маловероятно, и шантаж советского начальства перестал действовать на правительства западных стран, но сохранил своей действие на западное общественное мнение. Этим пользуется теперь советская пропаганда.

Содержание советской внешней политики после смерти Сталина состояло не в угрозе мировой войны, а в постепенном проникновении в страны "третьего мира", с использованием местных конфликтов. "Третий мир" — это страны Азии, Африки и Латинской Америки, со слабой экономикой и сильными пережитками первобытно-племенного и феодального строя. Эти страны, бывшие колонии или полукolonии западных стран, после второй мировой войны получили независимость и, как правило, не могут достичь экономической и политической устойчивости. В них часто происходят перевороты, и приходящие к власти группировки, обычно военные клики, провозглашают какой-нибудь местный социализм — африканский или исламский, афганский или никарагуанский, начиная повторять в своих условиях ошибки и преступления большевиков. Москва, давно потерявшая инициативу во внешней политике и плохо знающая, что делается в этих странах, механически реагирует на эти местные революции и мятежи, посылая своих советников, оружие и военный персонал. Процесс втягивания в иностранные авантюры объясняется особым способом дейст-

вий нашего руководства, по-прежнему лишенного обратных связей. Активность американцев и других наций в "третьем мире", где они имеют обширные экономические интересы, провоцирует советское руководство вмешиваться в ситуации, где у него нет *никаких* интересов, только унаследованные им великодержавные установки. Однажды втянувшись, политбюро не способно прекратить авантюру, потому что никто не решается оспаривать официально принятую политику, опасаясь обинения в антипартийной деятельности, фракционной деятельности и т.п. Но тогда Москва не может регулировать свою политику, ставить условия, а вынуждена удовлетворять все возрастающие требования своих клиентов и все больше втягиваться в безнадежные ситуации. Классическими примерами этого процесса стали Вьетнам, Ближний Восток и, в последние годы, Афганистан. Это в точности то, о чем говорит поговорка: "Коготок увяз — всей птичке пропасть".

В этих условиях Москва связала себя с гнилыми, безнадежными режимами в разных частях света; вот неполный перечень этих бессмысленных авантур: Вьетнам, Кампучия, Лаос, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Палестина, Сирия, Ливия, Куба, Никарагуа, Сальвадор и особенно Афганистан. Каждая из этих авантур годами высасывает наши скудные средства и кровь наших солдат... Когда-то колониальные державы отправляли за море своих людей и вкладывали свои деньги, извлекая из этих предприятий доходы. Москва обзавелась "колониями", приносящими ей только расходы! Поистине эту политику можно назвать "антиколониальной".

Внешняя политика Москвы полностью провалилась. Режимы, поддерживаемые из Москвы, рушатся или выходят из под контроля московских политиканов. Советское оружие оказалось негодным, на него сваливают все поражение. И, самое главное, советское правительство не в силах оказать своим подопечным экономическую и финансовую помощь, так что они вынуждены искать ее на Западе. Даже эфиопский полусумасшедший диктатор при каждом, почти ежегодном голоде в своей стране должен обращаться к благотворительности западных стран. Отношения с государствами-клиентами превратились для Москвы в источник постоянных унижений.

Так называемые "страны социализма" совсем отбились от рук. В 1980—81 годах с величайшим трудом удалось подавить рабочую революцию в Польше, но это была уже последняя победа. И Польша, и Венгрия, и Румыния, и даже Чехословакия и ГДР все больше ориентируются на западный рынок, западную технологию и ждут спасительных западных займов.

Наше партийное руководство, со своей малограмотной и убыточной внешней политикой, превратилось в посмешище дипломатических кругов, в том числе своих собственных дипломатов. Члены политбюро знают, что их собственные послы смеются у них за спиной. Смех специалистов — пусть даже пло-

хих, но считающих себя специалистами, — постоянно преследует этих людей, подрывает у них уверенность в себе. Советская внешняя политика дискредитировала наше руководство в его партийной среде.

Во внутренней политике дело обстоит еще хуже. Все видели, как провалились экономические "реформы" Хрущева и Брежнева. Они и не могли удасться, потому что были бюрократическими реформами, простым пересаживанием чиновников. Даже небольшие допуски независимости предприятий, предполагавшиеся в этих "реформах" были уничтожены сопротивлением госплана и министерств. Политбюро безвольно наблюдало, как сводятся на нет его торжественно объявленные мероприятия. По существу, позиция брежневского руководства по отношению к нашей экономике была унылым фатализмом: против рожна не поперешь. Это было правление "мертвяков".

По-видимому, часть аппарата уже тогда поднимала вопрос о технической отсталости. Брежнев (а вернее люди, стоящие за этим безличным персонажем) затеял в начале семидесятых годов "модернизацию", пытаясь привить к нашей промышленности новейшую западную технологию. Технология стоит денег. Умение делать вещи — машины, приборы, оружие, потребительские товары — достигается десятилетиями напряженного труда. В то время как наши НИИ, не спеша подновляли технику первых пятилеток, т.е. американскую технику тридцатых годов, на Западе возник новый технический мир. Фирмы, обладающие знаниями и навыками, хотят устоять в конъюнктурной борьбе и не всегда согласны продать свою технологию. Военные разработки и с ними связанные, нам, конечно, не продадут. Если технологию продадут, за нее надо платить миллиарды, и непременно валютой. Где же взять эту валюту?

Наша внешняя торговля немощна, потому что нечем торговать. Советские машины не берут даже "страны социализма"; советское оружие давно ославлено во всем мире, его берут только те, кто не может достать другое и по бросовым ценам. Наше сырье — древесина, уголь, металлические руды — обходится слишком дорого и, как правило, не удовлетворяет мировым стандартам, а потому не выдерживают конкуренции. Продовольствие нам приходится ввозить. У нас осталось всего два товара, доставляющих валюту: нефть и золото. Нефть в последние годы подешевела, на мировом рынке предлагается в избытке. Золота добывается не более 400 тонн в год, и увеличить его продукцию не удастся, потому что россыпи истощены, а техника добычи плоха. Почти вся валюта, вырученная за эти два товара, уходит на закупку хлеба: наше начальство хорошо знает, что будет, если исчезнет хлеб.

Брежнев пытался получить займы, но ему не дали, потому что он не предложил обеспечения. Он пытался убедить иностранных капиталистов строить предприятия в нашей стране, с оплатой долга произведенными товарами. Но строить надо бы-

ло через наши министерства, и нашлось мало желающих иметь с ними дело. На концессии, т.е. самостоятельную деятельность иностранных предприятий, наше руководство не шло и не идет по сей день. Они боятся, что рабочие этих предприятий слишком много увидят и многому научатся. Попытки модернизации провалились, и Брежнев больше не делал ничего. Впрочем, к тому времени все внимание политбюро поглотила борьба за власть.

Тем временем наряду с партийным аппаратом у нас развилась "технократия", прослойка руководителей с инженерным образованием, служащих в министерствах, на заводах, в Госплане и Госснабе, в научных институтах. Эти инженеры — плохие специалисты, но они считают себя специалистами и высмеивают за спиной "партократов", ничего не знающих и имеющих претензию всем руководить. Они издеваются над этими болтунами, способными только прочесть по бумажке написанную кем-нибудь речь. Партийные руководители знают, что над ними смеются, и это подрывает их уверенность в себе. Таким образом и советская внутренняя политика дискредитировала наше руководство в его партийной среде. Давление "технократов" уже принудило партийную верхушку разделить с ними власть. Естественно, эти "специалисты" делают ставку на научно-технический прогресс и предлагают реформы.

Но реформы внутри системы не могут ее спасти. Никакая реорганизация управления и планирования не может заменить свободный рынок, единственный эффективный регулятор экономической жизни. Попытки увеличить самостоятельность предприятий без свободного рынка уже были в Югославии и привели эту страну к годовой инфляции в 135%, т.е. к ежегодному росту цен более чем вдвое. Экономическая реформа, способная спасти наше народное хозяйство, должна освободить рынок и производство от оков партократии. Но тогда 17 миллионов паразитов окажутся лишними. Вот почему на серьезные реформы они никогда не пойдут. Серьезные реформы несовместимы с сохранением нашей системы правления, а несерьезные еще раз провалятся. Конечно, наши руководители этого не могут признать. Они хотели бы продлить существование системы и передать ее своим детям, наследующим привилегии своих отцов, и те, кто помоложе, весьма озабочены судьбой этого наследства. Но они не могут сговориться между собой, как это сделать. Впервые с двадцатых годов в партии возник открытый раскол.

●

Старые брежневские кадры, сплотившиеся вокруг Лигачева, хотят, чтобы было как можно меньше изменений. Это люди, сделавшие карьеру в условиях застоя, интриг и безнаказанности злоупотреблений. Им около 60 лет. За каждым из них тянется уголовное прошлое: дозволенное и недозволенное обкрадывание государства, взятки, подлоги, а в ряде случаев и убий-

ства для устранения неудобных соперников и свидетелей. Они по сей день занимают ключевые позиции в партийном аппарате: это члены политбюро, чиновники ЦК, министры, секретари обкомов, генералы, судьи, прокуроры и палачи ГБ. Это крайне ограниченные люди, с подсознательной установкой "на наш век хватит". Долгие годы брежневского маразма приучили их к тому, что их система держится, несмотря на очевидные признаки распада, и они бездумно рассчитывают, что можно и дальше обходиться частными реакциями на происшествия: купить на черном рынке еще один компьютер, завалить трупами еще один Чернобыль. Они вообще не хотят реформ, а предпочитают разговоры о реформах, и в этом проявляется их нехитрая мудрость. Представьте себе, что предлагают устроить уборку в доме, выстроенном из мусора; если всерьез подметать такой дом, начнут выметаться стены.

Эти люди — назовем их партократами — нехотя приняли компромиссные формулы "перестройки". Слово "перестройка" само является компромиссом: у поляков это называлось более ярким словом "обновление", которое здесь не решились применить. В Польше "обновлялись" уже три раза: в 1956 году, 1970 и 1980 году, и там в эту пропаганду никто не верит. Приняв "перестройку" и несколько других слов из нового жаргона, партократы сразу же принялись саботировать любые перемены. Это и есть "торможение" перестройки, на которое жалуются наши партийные активисты. Другой политики у партократов нет; на одном заседании, в ответ на разглагольствования Ельцина, ему прислали записку: "воровали и будем воровать", но из этого трудно сделать программу.

Партократы делают смешные попытки устроить себе поддержку снизу, насаждая и поддерживая русский шовинизм. Эти их маневры смешны и обречены на неудачу по следующим причинам. Во-первых, партократы, выросшие в канцеляриях, панически боятся народа, не умеют с ним обращаться и при первом же самостоятельном движении снизу немедленно отрекуются от своих "союзников". Во-вторых, шовинистическое движение нуждается в недвусмысленных, черно-белых лозунгах, бесстыдно провозглашаемых на улицах, как это делал когда-то Геббельс; наши доморощенные фашисты ничего не добьются, пока им приходится стыдливо намекать на "сионистов" вместо общепринятого слова "жид". В-третьих, наши партократы не в состоянии увязать свою партийную идеологию со своей подспудной черносотенной пропагандой, и это будет использовано против них. И, наконец, у будущего русского фашизма негодный человеческий материал: деятели "Памяти" и "Трезвости" сами чиновники, из которых не выйдет штурмовиков.

Между партократами и "горбачевцами" находятся "технократы", такие, как Рыжков, Ельцин или Зайков. Это люди с инженерным образованием, выбравшие партийную карьеру. Естественно, они презирают партократов, ничего не умеющих

делать, и воображают, что могут все сделать лучше. Их преимущество в партийной карьере — инженерный диплом и кое-какие зачатки технических знаний, и это преимущество они пускают в ход. У них есть и нечто вроде программы — “научно-технический прогресс”; они плохие инженеры, не знают, что делать с промышленностью, а тем более с сельским хозяйством, но по своему положению “специалистов” неизбежно должны быть за какие-нибудь “реформы”. Критерии подбора, применяемые в партийном аппарате, исключают в них талант и яркую личность: технократы безличны и бесцветны. Те из них, кто проявляет какую-нибудь независимость и отклоняются от серого стандарта, не имеют шансов удержаться.

И партократы, и технократы думают лишь о своем бюрократическом аппарате, т.е. о перестановке чиновников. Те и другие никак не могут объяснить, почему не удалось все предыдущие реформы. Тем и другим нечего сказать народу. Поэтому более энергичная фракция партийного аппарата, возглавляемая Горбачевым, выработала демагогический курс, претендующий на поддержку простого человека и говорящий этому простому человеку *новые слова*. За неимением лучшего названия, мы обозначили этот курс неуклюжим словом “горбачевизм”.

Группа Горбачева дает объяснение, почему не удалось все предыдущие реформы, и предлагает способ, как провести, наконец, удачную реформу. Оказывается, все прежние попытки реформ предпринимались сверху, бюрократическим путем, без живого участия трудящихся. При этом начальство, проводившее реформы, пренебрегало социальной стороной экономических мероприятий, т.е. не принимало во внимание *человека* как рабочую силу и потребителя. Поэтому, — говорят сторонники Горбачева, — и не удавались все прежние реформы, поэтому наша экономика отстала и приняла уродливый характер. На вопрос, когда же начались эти бюрократические извращения, горбачевцы отвечают достаточно решительно: вскоре после смерти Ленина и, во всяком случае, сразу после устранения старых большевиков. Таким образом, весь период с 1928 до 1985 года составлял сплошное бюрократическое извращение, и только теперь в партии явились почему-то силы, способные исправить это извращение и вернуть нашу экономическую и общественную жизнь к высоким ленинским образцам.

Мы помним, что при Ленине было две экономических системы: военный коммунизм и НЭП. Нам объясняют, однако, что не собираются вернуть нас ни к той, ни к другой, а предлагают начать с того места, где остановился Ленин, то есть строить новую систему, какую Ленин хотел построить после НЭП'а. Предполагается, что Ленин достаточно ясно представлял себе эту будущую систему, оставил об этом отчетливые указания, и дело лишь в том, чтобы эти указания исполнить.

Оказывается, коренной порок всей экономической поли-

тики партии да и вообще ее политики после Ленина состоял в том, что в этой политике не было *демократии*. Нам дают понять, что при Сталине все управление было "приказно-административной системой", — то есть, народом просто командовали, — и даже "автократией", то есть командовал один человек. Такой способ построения социализма привел, правда, к замечательным результатам — к появлению "сверхдержавы" и к победе в войне — но при этом народу отводилась пассивная или, как говорилось на старом русском языке, страдательная роль: исполнять приказы и есть, что дают. Все это говорится не так прямо, но горбачевские журналисты доводят до полной ясности то, чего не может сказать сам Горбачев. Если к этому прибавить, что миллионы людей (извините, пока говорят — тысячи) посылались на смерть в угоду капризам одного человека, которого уже называют в печати *сумасшедшим* — я прочел это сегодня в газете — то складывается представление, что между Лениным и Горбачевым был не социализм, а что-то другое, тоже кончающееся на "изм". Этого нам прямо не говорят, но все понимают, что имеется в виду.

Итак, нам предлагают в качестве единственно спасительной ленинской идеи — демократию? Уже одно сопоставление памяти Ленина с демократией наводит на мысль, что это слово означает в устах горбачевцев нечто совсем другое, чем в политической практике демократических стран. "Демократия", которую нам рекомендуют, должна быть однопартийной, без свободных выборов и парламента, и, по всей вероятности, с сохранением КГБ. Во всяком случае, никто из горбачевских пропагандистов не предлагал, чтобы советским гражданам было разрешено что-нибудь похожее на права, существующие в демократических странах. Ясно, что слово "демократия" служит у них средством политического надувательства, потому что *серьезное* развитие демократии сразу же сделает их партию лишней.

У большевиков это слово было не в чести, хотя иногда они и говорили о "рабочей демократии" или "социалистической демократии". Прилагательные служили здесь для того, чтобы отнять всякий смысл у существительного. Но горбачисты пустили в обращение еще более странное слово — "*гласность*", совсем уже чуждое большевикам и взятое из языка кадетов. Кадеты, называвшие себя "партией народной свободы", упорно настаивали на явном, не бюрократическом способе ведения государственных дел, подчеркивая, что единственно возможным условием такой "гласности" является *свобода слова и свобода печати*. И вот, нам предлагают "Гласность", или даже предполагают, что мы пользуемся этой "гласностью", когда печать подчиняется произволу партийных клик (и нет никакой другой!), а слово очень быстро приведет человека в застенки того учреждения, которое при Ленине называлось ЧК, при Сталине ГПУ, а теперь называется КГБ.

Ясно, что все эти разговоры о "демократии" и "гласно-

сти” — политическое шарлатанство, спекуляция на сознательном или неосознанном стремлении к свободе, живущем в нашем народе. Берется западное слово “демократия”, кадетское слово “гласность”, то и другое связываются с Лениным (которому они идут, как кошке шляпа), а затем предлагают нам всю эту словесную чепуху, как гарантию здорового развития общества и успеха хозяйственных реформ!

Чему служит эта демагогия? Кого хотят обмануть? Замысел Горбачева и его клики очень прост: использовать сохранившиеся в нашем народе остатки политического сознания и политической веры. В самом деле, Лигачев и его клика пытаются использовать широко распространенный, но политически бесформенный русский шовинизм, который еще труднее приклеить к Ленину, и который не может существовать без православия и монархии. Они забывают при этом, что русские составляют теперь *меньше половины* населения страны, а потому русский шовинизм — это курс на распад государства.

Горбачевцы проявляют в своей демагогии значительно больший политический реализм. Они знают, что в голове советского подданного не сохранилось никакого понятия о монархии, никакой способности к православию, но очень часто в этой голове все еще держится представление о Ленине и большевиках, бескорыстно борющихся за рабочее дело. Ленину можно приписать и демократию, и гласность (благо никто не читает его сочинения), и, тем более, “научно-технический прогресс”. Подновленный таким образом ленинизм может служить вместо идеологии, с подразумеваемым сравнением: “Горбачев — это Ленин сегодня”.

Демагогия горбачевцев — это их оружие в борьбе за власть. Если им удастся захватить власть, одержать верх над старыми брежневцами, то не будет у нас *никакой* демократии, а гласность сведется к разрешению использовать Сталина как козла отпущения за все грехи, вместе с Брежневым, о коем пока говорят глухо, и Лигачевым, о котором еще говорить нельзя. Будет создан еще один “исторический” миф, новая система вранья о прошлом, сдобренная большей долей правдоподобных документов. Но ни в коем случае горбачевцы не допустят свободной печати и свободного слова, потому что свободной России не нужно будет руководство этих людей.

Это очень жалкие, бездарные люди: других не производит партийный аппарат. Сам Горбачев — выходец из той же партократии, плоть от плоти партийных кадров, ничего не умеющий делать вне партийной машины. Всякий, кто видел его на экране телевизора и слышал его речь, знает, как мало он похож на сильного лидера, на самостоятельную политическую фигуру. Он попросту один из многих, и его выбрала случайность. Но теперь, по законам партийной машины, у него нет пути назад. Так история использует для своих целей любой подручный материал!

Что же *объективно* делают Горбачев и горбачевцы, разумеется не ведающие, что творят? В действительности у нашей партийной бюрократии только один выход: продажа России иностранным дельцам. Страна, безнадежно отставшая в технике организации и производства, по существу превратившаяся в "слаборазвитую" страну, может выйти из экономического тупика либо путем изменения общественного строя, либо путем иностранной экономической организации. Если общественный строй остается неизменным, то единственное спасение для наших правителей — широкое привлечение иностранного капитала, который только и может освежить нашу экономику. Ясно, что новый вариант НЭП'а, даже в широком понимании этого слова, наших трудностей не разрешит. Частная инициатива кустарей и огородников не может влить в нашу промышленность необходимые ей валютные и технические средства. Последняя надежда партийного руководства — это иностранные займы и сотрудничество иностранных компаний.

Но западные дельцы не торопятся с помощью и ставят свои условия. Они хорошо знают возможности России — ее огромные, почти не разведанные природные богатства, ее ресурсы дешевой и покорной рабочей силы, ее жадный и нетребовательный рынок. По существу, наша страна — последнее белое пятно в экономической географии современного мира. Но западные дельцы видят, что для эксплуатации России пока нет условий. Для этого они должны иметь достаточную свободу действий, не связанную бюрократическими цепями. Историческая задача, стоящая перед нашим руководством, объективно состоит именно в создании этих условий. Лигачев и его клика не могут понять, что от них требуется, и не умеют или боятся удовлетворить будущих хозяев; горбачевцы, напротив, готовы провалить в этом большую гибкость.

В наше время *политическая* колонизация невыгодна и вышла из моды. Никто не собирается нас завоевывать и держать у нас оккупационные войска. Нас будут колонизировать экономически, навязывая нам свою власть таким же образом, как это делается во всех "слаборазвитых" странах. И точно так же, как это происходит во всех "слаборазвитых" странах, наши руководящие кадры возьмут на себя роль посредников и приказчиков иностранного капитала, в частности, полицейские функции, с целью обеспечить покорность и дешевизну рабочей силы. Такие посредники и приказчики известны под названием "компрадоров", а типичным примером такой общественной структуры был (и становится снова) Китай.

Было бы наивно думать, что западные дельцы захотят насаждать у нас демократию и будут всерьез заботиться о "правах человека". Они превосходно вели свои дела — и ведут их по сей день — в странах, где этих вещей нет и в помине; дельцы отлично ладят с самыми кровавыми диктаторами во всех частях света. Но эти диктаторы понимают, что от них требуется, и знают,

за что можно получить деньги и поддержку. Наше руководство в этом смысле еще не созрело. По существу его положение по отношению к Западу — это позиция с протянутой рукой, но при этом оно все еще затевает великодержавные выходки, и особая система руководства хозяйством не дает с ними договориться о серьезных делах. Есть еще и внешняя, так сказать идеологическая сторона дела. Советский Союз целые десятилетия изображали как опасного, коварного врага, и всячески порицали существующие в нем порядки. В этих условиях трудно даже вести переговоры, поскольку западное общественное мнение болезненно реагирует на самые яркие проявления насилия и произвола, такие как аресты и убийства инакомыслящих, заключение неугодных людей в сумасшедшие дома, запрещение выезда за границу, глушение радиопередач.

Конечно, до серьезных деловых связей и особенно до займов еще очень далеко, но уже самая перспектива эксплуатации России вызывает в западных деловых кругах большой интерес. Эта общая тенденция соединяется в последнее время с тактическими интересами обеих сторон — положением американского правительства перед президентскими выборами и положением Горбачева перед партийной верхушкой. Обеим сторонам нужны хоть какие-нибудь внешнеполитические успехи, чтобы поддержать свой престиж. Отсюда весь этот ажиотаж вокруг ракет среднего радиуса действия, военное значение которых очень невелико. Чтобы можно было вести переговоры с Москвой, не раздражая общественного мнения, Горбачеву дали понять, что он должен провести кое-какие "косметические мероприятия", и он сумел кое-чего добиться от своих коллег в политбюро: выпустили около двухсот наиболее известных политзаключенных и облегчили выезд определенным категориям лиц, особенно недовольных своим положением. Само собой разумеется, вопрос о "правах человека" от этого не сдвинулся с места. На Западе находятся глупые или бессовестные люди, изображающие эти косметические меры горбачевцев как начало серьезного изменения наших политических условий.

Бессмысленно рассчитывать, что эти условия изменятся от давления извне. Никто не станет навязывать свободу стране, которая сама ее не хочет. Свободу не дают, а берут, она существует лишь для тех, кто умеет за нее бороться. Установка наших "инакомыслящих" на иностранное общественное мнение свидетельствует лишь об отсутствии политического мышления и неверии в живые силы страны. Конечно, необходима информация для иностранцев, и надо заботиться о жертвах преследования, но деятельность этого рода ни к каким изменениям не приведет. Те, кто верит в будущее нашей страны, должны прежде всего осознать, чего они хотят. Можно заметить общие цели всех отвергающих наш политический режим.

Мы хотим, прежде всего, политической свободы — свободы слова, печати и собраний, без чего не может быть никаких

изменений в жизни страны, даже в самых простых хозяйственных делах. Это означает многопартийную систему.

Мы хотим освобождения производства и рынка. Это не обязательно означает передачу крупных предприятий в частные руки: они могут принадлежать, например, добровольным корпорациям или кооперативам. Но государство не должно контролировать экономику и управлять ею — иначе нам суждена вечная нищета.

Мы хотим подлинного равноправия всех граждан, независимо от национальной принадлежности, пола, религии и политических убеждений.

Мы хотим видеть нашу страну независимой и сильной, свободной и свободной сотрудничавшей с другими странами, не посягающей на свободу других стран.

Надо понять состояние умов в нашей стране после беспроблемного рабства сталинских и брежневских времен. Мы не надеемся на быстрые успехи дела свободы. Герцен говорил когда-то, что прежде чем утверждать республику, надо иметь хотя бы несколько сот республиканцев. Мы не можем рассчитывать на лучшую жизнь без демократического просвещения нашего народа и, прежде всего, интеллигенции.

За этим — и вместе с этим — следует организация. Организация нужна уже для насущного, неотложного дела — создания и распространения свободной литературы, политической, научной и художественной. Разумеется, нам не нужны формальности: надо научиться работать вместе со своими друзьями для общей цели. Каждая группа единомышленников сама наметит себе эти цели, и они будут созревать в ходе работы. Мы относимся с недоверием к преждевременным попыткам учреждения формальных организаций, таких как партии и профсоюзы.

Было бы очень вредно подчеркивать на этом этапе нашей общественной жизни то, что нас разделяет. Первый урок из горестной истории последних семидесяти лет — это необходимость сотрудничества людей с разными взглядами.

Как же надо относиться к "перестройке"? Прежде всего, нельзя верить ничему, что говорят и делают Горбачев и его люди. Те, кто поступают к нему на службу, помогая создавать ему приличный образ для иностранной публики, берут на себя тяжкую ответственность. Они обманывают народ, чем бы ни был заслужен их прежний авторитет. Нельзя говорить людям, что мы верим в "перестройку", принимаем ее всерьез (в каком бы то ни было истолковании), намерены ее поддерживать (с какими бы то ни было условиями)! Общее дело нельзя делать с людьми, непримиримо враждебными всякой свободе, с демагогами и интриганами, дурачащими публику бессмысленными лозунгами "гласности" и "демократии". Обманщиков надо разоблачать, внося в умы наших соотечественников не замешательство, а ясность. Надо понять, что Горбачев и его клика при первом же сопротивлении снизу пойдут на расстрелы точно так

же, как это делали Сталин, Хрущев и Брежнев. Каждый год у нас расстреливают сотни людей, и сейчас, во время "перестройки", больше прежнего — до семисот.

Все это вовсе не означает, что раскол в партийном аппарате не имеет значения. Прежде всего, он разрушает партийный аппарат, и в этом его положительная сторона. Кроме того, даже самые жалкие инсценировки "гласности" можно и нужно использовать в качестве прикрытия для более серьезной деятельности. Если повсюду размножились клубы, надо заботиться о том, чтобы в них занимались тоже чем-нибудь полезным. Если в печать проникает интересный материал, надо его читать, комментировать и критиковать. Вообще, всякая серьезная деятельность должна быть как можно лучше укрыта от начальства, должна казаться невинной. Тех, кто ищет немедленной конфронтации с начальством, надо рассматривать как провокаторов. Тех, кто устраивает демонстрации в одиночку, вдвоем и втроем, рассчитывая привлечь этим внимание мировой печати, надо рассматривать как глупцов. Если вы хотите произвести на кого-нибудь впечатление, докажите, что можете вывести на улицу несколько тысяч, и хорошо обдумайте, надо ли это делать, а если надо — сумейте это организовать.

Независимо от намерений жалких деятелей "перестройки", она объективно означает неизбежность настоящей гласности и демократии, невозможность без них обойтись. В этом смысле "перестройка" является историческим сдвигом. Когда наши рабовладельцы соблазняют нас свободой, это значит, что они вынуждены пользоваться нашим языком. Но это наш язык, и говорить на нем будем мы!

ВОЗРАЖЕНИЕ.

Я понимаю, для чего журнал "Синтаксис" печатает авторов, взгляды которых не разделяет его редактор. Для плюрализма. Но убедите меня, никак не могу понять, чего ради журналу "Синтаксис" печатать материалы, которые, — насколько я поняла из долгих разговоров в повышенных тонах, — не устраивают редакцию: а) по форме; б) по методологии.

Аргументация Н.Кленова по основному из затронутых им вопросов содержит крайне мало нового по сравнению с тоннами антиперестроечных деклараций, печатающихся сегодня в десятках эмигрантских журналов. Для всех этих материалов характерна железная категоричность суждений и манихейская (черно-белая) картина мира. Единственное отличие Н.Кленова, автора живущего в СССР, от своих эмигрантских единомышленников-антиперестроечников заключается в том, что он еще не пережил периода бурного разочарования в Западе вообще и в Соединенных Штатах в частности. Между тем, духовный путь десятков таких эми-

грантов проходил на моих глазах, и я смело могу засвидетельствовать, что существующий в воображении образ западного мира — лишь первый этап на пути к антизападным убеждениям подобного рода людей.

Например, достаточно сомнительной представляется одна из основополагающих идей статьи Н.Кленова, согласно которой Советским Союзом на протяжении последних семидесяти лет управляют одни безграмотные идиоты и мерзавцы, в то время как у руля стран западной демократии ликургов сменяют солони, а солонов — периклы. Боюсь, интеллигентный американец или западный европеец просто лопнет со смеху, если ему перевести соответствующие пассажи из статьи Н.Кленова. На самом деле наш А.Н.Яковлев будет, по крайней мере, пообразованнее многих западных лидеров, включая самого президента Рейгана. Гуманитарное образование и ценится-то в советском обществе гораздо выше, чем в американском.

Между тем, подобные частности уводят в черт те какую сторону от более или менее правильно понятых автором закономерностей, отличающих советское общество от несветского. В одном случае мы имеем дело с обществом, которое семьдесят лет насильственно пытались привести в соответствие с чьими-то умозрительными построениями (с утопией), в другом — с естественно сложившимся механизмом, способным к естественной же саморегуляции. В одном случае мы видим перед собой систему, содержащую неограниченные возможности для произвола властей, в другом — систему, практически произвол исключающую. Вне зависимости от того, имеются или нет у того или иного конкретного лица, облеченного властью, намерения использовать террор и произвол на практике.

Еще один пример: Н.Кленов настойчиво призывает читателя не "верить ничему, что говорят и делают Горбачев и его люди". Следует ли из этого, что мы должны безоговорочно верить, скажем, Рейгану или Дж. Бушу, когда они утверждают, что знать ничего не знали о незаконных поставках оружия Ирану? Насколько я понимаю, христианину положено *верить* исключительно в догматы, перечисленные в Символе Веры Никейского собора, а нехристианину и это необязательно. Что же до всего остального, то не для того ли Господь и сотворил человека разумным, чтобы он, человек, разумом своим, в случае необходимости, пользовался? В этом смысле, разумеется одно дело — не верить тому, что имярек говорит, и совсем другое — не верить тому, что имярек делает. В последнем случае меня призывают не верить собственным глазам.

Мой же смиренный, тварный разум отказывается верить, прежде всего, во многие утверждения Н.Кленова. При чтении этой статьи у меня постоянно возникали всякого рода вульгарные вопросы: "Так ли это?.. С чего ты, милый, это взял?.. А откуда ты, милый, это знаешь?" Например, соответствует ли действительности утверждение Н.Кленова, что при Горбачеве расстреливают больше людей, чем при Н.С.Хрущеве или Л.И.Брежнев? Откуда он знает, что сейчас в СССР ежегодно расстреливают "до семисот" человек? Статистику-то, как не публиковали, так ведь нигде пока и не публикуют. На каком основании, призывая нас не верить Горбачеву, Н.Кленов столь железно убежден, что ему самому мы обязаны верить на слово? Или только потому, что в своей статье Н.Кленов

заранее объявляет всех тех, кто за перестройку (т.е. и меня в том числе), — либо глупцами, либо людьми бессовестными?

Возвращаясь к тому, с чего я начала, объясню еще раз, чем мне лично кажется неприемлемой статья Н.Кленова. Не тем, что его точка зрения на происходящие сейчас в СССР перемены на 180° отличается от моей, — это его, Н.Кленова, право. Не тем, что излагает он свою точку зрения с такой злобой — это на его, Н.Кленова, совести. Даже не тем, что мне лично совершенно непонятно, от чьего имени Н.Кленов выступает, за кем именно, за какими такими силами, обозначенными в его статье местоимением "мы", он оставляет монопольное право говорить о гласности и демократии; и не своими, мягко говоря, наивными, претензиями кого-то другого (кого бы то ни было) этого права лишить. Это все еще пережить можно, коль скоро Вам, Марья Васильевна, уж так приспичило — в очередной раз проявить плюрализм ради своего старого московского автора. Но зачем, ради какого такого плюрализма, печатать статьи, отличающиеся столь невероятной, категорической бездоказательностью?

Ю. Вишневецкая

ОТ РЕДАКЦИИ:

Н.Кленов — давний автор "Синтаксиса" (См. №№ 10, 12, 13). У старого автора есть свои права, и Кленов заслуживает быть напечатанным уже по одному тому, что он этого хочет. Особенно — если он разошелся во мнениях и оценках с редакторами. Не в "Континент" же ему бежать в этом случае, в самом деле?!

Статья Н.Кленова нас огорчила. Схождение на ступени педагогической и популяризаторской литературы вредит перу индивидуалиста, каким был автор в своих прежних работах. Новое эссе написано языком народнической прокламации, заранее рассчитанной на массовый успех. Просветитель вещает сверху вниз, справедливо полагая излишней для своих целей систему разработанных доказательств. Эмоциональное впечатление важнее, и давно известно, как оно достигается. Автор клеит ярлыки, переходит на личности, осыпает оскорблениями действующих лиц современной исторической сцены — главным образом за те грехи, которые им еще только предстоит совершить. Но, по мнению Кленова, они совершат их неизбежно.

Такая точка зрения, как и такая аргументация, представительны.

Рядом с речью активиста горбачевской революции А.Стреляного, с одной стороны, рядом с отстраненной аналитической раскладкой ее перспективы, сделанной американским генералом Уильямом Одомом, с другой, безысходные предвещения Н.Кленова выглядят необходимым элементом стереоскопической картины сегодняшних настроений. Кто же не услышит переключек в этих столь несхожих текстах!

Кленову жаль и боязно расстаться с броней непробиваемого отчаяния. И кто же не поймет его резонов! И много ли таких — среди даже самых безоглядных оптимистов — у кого совсем, ну совсем не вызывают понимающего отклика его предсказания? Но хорошо бы позволить ему ошибиться.

Макс Вебер

К СОСТОЯНИЮ БУРЖУАЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

Перед тем, как обсуждать проект русской конституции, было бы естественно заметить, что она лишена "исторической логики". Подобный образец современного конституционного права в данном случае выглядит как явление "внеисторическое". Впрочем, что можно считать в сегодняшней России подлинно "историческим"? Исключим Церковь и крестьянскую общину. Не останется ничего, кроме абсолютной власти Царя, унаследованной от времен татарской опасности; то есть системы власти, которая после распада "органической" структуры, определявшей облик России XVII-XVIII веков, буквально повисла в воздухе свободы, принесенной сюда ветром вопреки всякой исторической логике. Страна, еще каких-то 100 лет назад напоминавшая своими наиболее укорененными в национальной традиции институтами монархию Диоклетиана, не может осуществить реформу, которая была бы "исторически естественной" и жизнеспособной.

Наиболее полнокровный, дееспособный и авторитетный в общественном мнении институт современной России — это земство. Этот же институт наиболее враждебен старомосковской идее сословного распределения обязанностей. Земство — современный орган самоуправления, существующий 40 лет.

Идеализм, свойственный земским кругам, побуждал к пожертвованиям на "благородные" цели; поведение земских кругов в России заслуживает безусловного уважения. Даже в теперешнем плачевном состоянии и разрываясь между самыми разнообразными видами деятельности — народными шко-

лами, медицинским и ветеринарным обслуживанием, строительством дорог, налогообложением, статистикой, земледельческим образованием и призрением — земства все еще демонстрируют значительные достижения.

Их деятельность в крайне трудных условиях должна бы положить конец постоянно возобновляемым разговорам о "неспособности" русских к управлению в условиях свободы.

Понятно, что по сравнению с земствами "государственная власть", несмотря на все свое превосходство в бюрократической технике кажется попросту паразитом, единственный смысл которого в том, чтобы поддерживать существующий баланс политических сил в обществе. У нее нет почти никаких функций, кроме некоторой финансовой политики, и она смотрит с глубоким недоверием на всех конкурентов.

Поэтому земству пришлось добывать свои успехи в борьбе с постоянным сопротивлением государственной полиции. Ревность государства ощущалась постоянно. Государство, например, запрещало увеличить налоговые отчисления на школы, создать филантропическую организацию во время войны рядом с насквозь коррумпированным государственным Красным Крестом, а также пыталось перевести в свое ведомство работу по призрению.

Земства все больше и больше превращались в пассивные целевые объединения, выполняющие предписания правительства и вынужденные нести тяготы, возложенные на них тем же правительством. Распространение земской системы на Малороссию и Белоруссию не состоялось. И, наконец, Плеве в последние годы своего правления выказал серьезные намерения вообще разрушить земскую систему и заменить ее государственной бюрократией.

* * *

Стоящая за проектом конституции партия КД отличается от других партий безусловной поддержкой принципа всеобщих равных тайных прямых выборов. Более правые конституционные партии хотят избирательного ценза или непрямых выборов. Антибюрократическая славянофильская группа Шипова предлагала развить народное представительство на основе земств.

Демократы сосредоточились на всеобщем избирательном праве, потому что не удался другой, "исторический" элемент, с которым были связаны их надежды: правительство не напрасно 25 лет неустанно работало над дискредитацией земства.

Сыграло роль, конечно, и еще одно обстоятельство, ныне везде мешающее сторонникам принципиальной реформы. Капитализм, порождающий классы, делает для них невозможным с чистой совестью требовать ступенчатого избирательного права. Противоречия между классовыми интересами в обществе и классовая природа пролетариата наносят специфически буржуазным реформам удар ножом в спину. Только если в обществе преобладает ремесло и, таким образом, существует по крайней мере теоретическая возможность считать, что рабочий может стать "самостоятельным хозяином", можно субъективно честно требовать избирательного ценза по принципу "самостоятельности" и утверждать при этом, что "несамостоятельные" тоже — через "самостоятельных" — будут представлены.

В России городское "среднее сословие" по историческим причинам было очень слабым само по себе; к тому же капитализм теперь еще больше ослабил его. Поэтому цензовое избирательное право означало бы, само собой, что в городах рабочие вообще были бы лишены права голоса.

В сельской местности, там, где существует община, цензовое избирательное право потребовало бы значительного произвола: община признает равное право голоса за каждым главой домохозяйства — это его "историческое" право.

Авторитарическое правительство еще могло бы, если бы действовало своевременно, навязать обществу какую-то схему ограниченного избирательного права. Но партия реформы могла предложить только то, что она и предложила в Проекте. Если бы она это не сделала, то автократия получила бы возможность при первом же сопротивлении Думы использовать против нее рабочих. Она уже прибегала к этой тактике и раньше (по меньшей мере с видимым успехом), чтобы запугать подозрительно относящиеся к реформам имущие классы. А если бы демократическая партия согласилась на полное или частичное цензовое отстранение крестьянской массы от выборов, то реакция получила бы на свою сторону и крестьянскую массу.

Потому что ненависть крестьянской массы направлена прежде всего на земельных собственников в деревне, то есть

кулаков и другие группы сельской буржуазии, иными словами, на тех, кто получил бы избирательное право согласно имущественному избирательному цензу. Крестьянство никоим образом не считало Царя виновником своих бедствий. Чиновники — вот кто, по мнению крестьян, был безучастен к их судьбе. Располагаясь в цензовой иерархии ниже даже городского пролетариата, крестьянство несомненно перенесло бы свои чувства с чиновников на Думу. Уже теперь реакционная аристократия и государственное чиновничество упорно распространяют слухи, что цель либералов — не допустить крестьян в Думу. Особенно отчетливо эта демагогическая политика проявилась в проекте Булыгинской Думы.

Поэтому совершенно правильно пишет Петр Струве в предисловии к публикуемому нами Проекту русской конституции, что любая другая избирательная система в России уже "устарела". Идея "прав человека" и требование "четырёхстепенного" избирательного права — вот на какой основе объединились в "Союзе освобождения" радикальная буржуазия и "пролетаризованная" интеллигенция (часть последней составляли социалисты-революционеры). Непреклонная решимость держаться этих идей только и спасала интеллигенцию от раскола.

Но даже убежденный демократ или социал-демократ, если он только не закрывает сознательно глаза, усомнится в том, что разумно провозглашать первоочередной задачей *такое* избирательное право в *такой* стране в *такой* момент.

Русские демократы придерживаются разных взглядов по самому решающему вопросу, а именно: каковы будут последствия такого избирательного права. В отношении земств существуют сомнения, следует ли их передавать в руки самой неграмотной части населения. С другой стороны указывают, что должно быть увеличено представительство крестьянства, которое теперь в земствах в меньшинстве и полностью лишено влияния. В действительности неизбежна полная бюрократизация земского управления, и, как бы ни были велики достижения этого "третьего элемента" русского общества, он станет лишь проводником централизации по французскому образцу. Экономическая независимость тех, кто состоял в земстве по почетной обязанности, гарантировала независимость земства в целом от "верхних инстанций". При этом отпадал вообще вопрос о том,

нужно ли стране какое-либо парламентское устройство, пока крестьяне оставались привязаны к аграрному коммунизму общины.

Взгляды на то, какие последствия будет иметь всеобщее и равное избирательное право для Думы, тоже расходятся. По мнению одного русского демократа, массы могут отклонить или даже сорвать культурный прогресс. Мы же должны думать только о справедливости. Наш долг — предоставить народу избирательное право и, таким образом, сделать его ответственным за собственные действия. К таким рассуждениям в крайнем случае добавляют: "Даже крайняя охлократия будет не так страшна, как "черная сотня", нанятая чиновничеством, почувшшим, что его власть — под угрозой". И далее: лучше погрузиться в культурные сумерки на несколько поколений, чем допустить политическую несправедливость. Будем надеяться, что со временем воспитательное значение избирательного права принесет должные плоды.

В подобных взглядах стихийно выражается вера Соловьева в этически-религиозное своеобразие политической миссии русского духа, на что мне указал прямо один из представителей подобных взглядов. Абсолютное неприятие "этики успеха" даже в приложении к политической сфере в данном случае означает: возможна только борьба за "правду" или, иначе говоря, "святое самоотрицание".

Резкие смены бешеной активности и полного подчинения обстоятельствам вытекают из того, что этически нейтральное не признается существующим или чем-то таким, что может иметь "ценность". Этот подход свойственен панморализму соловьевской доктрины "святости", так же как и этически ориентированной демократии.

Между тем, рядом с этими идеологическими экстремистами мы обнаруживаем немало думающих иначе. Они, как и некоторые иностранные наблюдатели, допускают, что конституционные намерения нынешнего режима до некоторой степени искренни, и делают этот вывод как раз из того, что режим *не* хочет давать избирательное право политически необразованным массам.

Но вернемся к вождям русской демократии. Некоторые из них настаивают, что существуют особо важные *экономические* причины, в силу которых массы, получив избирательное

право, неизбежно будут следовать — политически и культурно — идеалам свободы. Общий аргумент сводится к указанию на воспитательную функцию избирательного права, которая, впрочем, коль скоро речь идет о *равном* избирательном праве, может реализоваться лишь при условии известных "исторически-эволюционных" предпосылок. Чисто же политическая аргументация ограничивается указанием на политический опыт Болгарии, где введение всеобщего избирательного права, по мнению авторов проекта, было успешным. При этом забывают об отличии малой страны от великой нации, об отличии традиционного положения священных — в национальном и религиозном отношении — русских царей от наемно-импортированной болгарской монархии.

Впрочем, следует категорически подчеркнуть, что во всех остальных отношениях (кроме избирательного права — пер.) проект конституции не отличается "радикальным" характером. Авторы отвергают (и с полным основанием) модные ныне разговоры о том, что парламентаризм — "пережиток", но проект Конституции в целом щадит положение Царя. В нем не нашлось места для выборных служащих, кроме "мировых судей". Он также не предусматривает ни парламентского суверенитета наподобие английского, ни правления большинства на французский манер. Эта оглядка на монарха отличает конституционных демократов левого толка от радикальных групп, которые, не будучи республиканцами, хотят все же обеспечить принцип народного суверенитета созывом учредительного собрания и с помощью гарантированного контроля парламента над ходом политической жизни. Так же с оглядкой на Царя проект не предусматривает эффективного разделения исполнительной и законодательной власти по американскому образцу.

* * *

"Политический индивидуализм" западноевропейской идеи "прав человека" (который отстаивает, например, Струве) имеет разные корни. Один из его "идеальных" корней — религиозные убеждения, не признающие человеческого авторитета, поскольку такое признание означало бы безбожное обожествление человека. Эти убеждения при современной форме "просвещения" вообще уже не могут широко прижиться. В то же

время политический "индивидуализм" — продукт оптимистической веры в гармонию индивидуальных интересов, а она разрушена ныне навсегда развитием капитализма.

Эти две стадии развития принципа "индивидуализма" Россия уже не может наверстать: специфически буржуазный индивидуализм внутри самого класса "образованных и имущих" уже преодолен и не может завоевать мелкую буржуазию. Тем более — массы. В самом деле: что может побудить массы, которым всеобщее избирательное право даст власть, поддержать движение, выдвигающее чисто материально обусловленные буржуазно-демократические требования, содержащиеся в программе "Союза освобождения", а именно: (1) гарантию свободы индивида; (2) конституционное правовое государство на основе избирательного права, организованного по четырем условиям; (3) социальные реформы по западноевропейскому образцу; (4) аграрная реформа.

* * *

То же самое касается городского рабочего класса, как бы он ни был распропагандирован христианско-социальными и социально-революционными идеалами. Группа "свободных профессий", как ее представители сами и признают, тоже вряд ли выкажет приверженность буржуазной демократии в ситуации всеобщего избирательного права.

Узкий слой собственно "буржуазии", бывший всегда носителем национализма, в условиях политики Плеве, пытавшегося привлечь на сторону режима рабочих и натравить их на интеллигенцию, отчасти подался теперь в сторону либералов, отчасти в сторону демократов.

В то же время в партии КД нет деятелей из этой среды. В этой среде не сочувствуют земскому движению, а в антипротекционистской программе "Союза освобождения" нет ничего для этой среды привлекательного. В социально-политическом смысле основная масса буржуазии стояла на реакционных позициях и надеялась на репрессии.

Немало фабрикантов принадлежат к партии "правового порядка" или близко к ней стоящей партии 17 октября.

Все же после приобретенного опыта они не слишком охотно поддерживают правительство и реакцию против либералов.

Наконец, мелкая буржуазия, чья позиция, как всегда, наименее определена и предсказуема, по большей части не готова к союзу с либералами из-за своей враждебности к евреям. Правда, не следует забывать и обстоятельства, толкающие ее в противоположном направлении. Например, в больших городах и некоторых других "подозрительных" местах от дворников требуют вести слежку за жильцами. Для домохозяев это чревато непосильными для них издержками и ответственностью. Кроме того, принудительная паспортная система и практика административного выселения и обысков создают нетерпимую зависимость граждан от продажных и самовольных чиновников. В ближайшие годы протест против этой системы будет перевешивать все другие соображения. С системой, которая нуждается в подобных методах, *длительный* компромисс невозможен.

Но для будущего конституционно-демократического движения, для решающих пунктов его программы, для возможности свободного "развития" в западноевропейском стиле решающей была и остается позиция крестьянства. Если цензовое избирательное право даст либералам большинство, реакционное правительство всегда сможет использовать крестьянство, коль скоро крестьянство реакционно, в качестве дубинки против непокорной Думы.

На деле крестьянство — главный объект буржуазно-демократической пропаганды. Петр Струве рассчитывает, что когда крестьянин привыкнет не только к "праву" в объективном смысле, но и в субъективном, то есть к "правам человека" в духе английского индивидуализма, он станет "личностью". Вновь и вновь настойчиво подчеркивается, что центральная проблема — это *аграрная реформа*, что политические реформы будут и должны благоприятствовать ей, а она в свою очередь будет благоприятна для политических реформ. Однако, будет ли само крестьянство демократичным, неясно, и об этом вообще не говорят. Петр Струве и авторы проекта полагаются на экономические интересы крестьянства, требования которого правительство не в силах удовлетворить. Тут следует задать вопрос: а какие требования крестьянства и какие требования демократов не противоречат интересам правительства?

Программа Союза освобождения поставила (март 1905 года) в рамках аграрной политики следующие требования:

(1) отменить выкуп земли к 1907 году; (2) наделить землей безземельных и малоземельных, в том числе и за счет *экспроприации* земельной собственности; (3) создать государственный земельный фонд для плановой колонизации; (4) провести реформу арендных отношений, так чтобы сделать мелиорацию выгодной для арендатора, и урегулировать судебную процедуру касательно арендных платежей, чтобы обеспечить интересы работающих; (5) распространить рабочее законодательство на сельскохозяйственных рабочих.

Засим следует еще несколько пунктов в откровенно физиократическом духе. Среди них – постепенная отмена косвенного налогообложения и развитие прямого налогообложения в виде прогрессивного подоходного налога. Полную отмену косвенных налогов Струве в своей критике проекта отклонил, учитывая их бюджетное значение. Между тем, именно этот пункт оказался популярен среди сельских хозяев, которые в конечном счете могли бы последовать за либеральным движением.

До сих пор я не упомянул "общину". Между тем, аграрные проблемы собственно господствующей великорусской нации связаны прямо или косвенно с земельной общиной.

Самое существенное в русской земельной общине это то, что она в принципе универсальна. Социально-политическая и партийная жизнь русского общества уже несколько десятилетий сосредоточены на спорах о ее дальнейшей судьбе; народное сознание озабочено этим не менее, чем сознание политических кругов всех оттенков, и влияет на их настроение совершенно несообразно действительному значению проблемы.

Отчасти именно этим объясняется молчание либеральной программы насчет общины. Либералы несомненно пытаются не задеть ту часть славянофилов, которая склонна к политическому либерализму, и в то же время не раздражать социалистов, социалистов-революционеров (партия СР) и сторонников земельной реформы, которые – по противоположным соображениям – не потерпели бы открытой атаки на земельную общину.

В то же время сторонники либерализма в его специфически экономическом аспекте, тем более такие индивидуалисты, как Струве, прошедшие солидную марксистскую школу, должны считать любую попытку установить связь аграрной реформы с общиной проявлением "утопизма".

Сверх этого, замалчивание общины объясняется тем, что законодательная обработка проблемы общины заняла бы не меньше десятилетия, а для практических политиков важнее более насущные аграрно-политические задачи. И все же при первых же попытках провести широкую аграрную реформу реформаторы неизбежно столкнутся с проблемой общины.

* * *

Сдержанность демократов в отношении общины имеет еще одно основание: сама *крестьянская масса*, без сомнения, ничего не выиграет от аграрной программы, выдержанной в духе западноевропейского "индивидуализма". Прежде всего, привязанность к общине объясняется глубоко укоренившимися "естественно-правовыми" представлениями. Община — арена классовой борьбы, но совершенно очевидно, что решение о каждом новом переделе земли принимается не только голосами тех, кто надеется улучшить свое положение, и тех, кого можно заставить "сидеть тихо".

Впрочем, также очевидно и другое: как раз переделы, по видимости, составляющие важнейший элемент этой аграрной демократии, весьма часто остаются на бумаге, во всяком случае в том, что касается их предполагаемой "социально-политической" роли в жизни общины. Передел оказывается вполне совместим с самой беззастенчивой эксплуатацией слабых.

Но по мере повышения цен на землю и социальной дифференциации естественно возрастает радикализм возмущенных масс — как раз вследствие расхождения права и практики. И — решающее обстоятельство — этот коммунистический радикализм проявляется именно тогда, когда положение крестьян улучшается, их тяготы ослабевают, и община получает в свое распоряжение больше земли. Во всяком случае, согласно простой логике, так должно произойти. Потому что там, где связанные с наделом повинности превышают доход, землевладение еще и сегодня рассматривается как обязанность, от которой каждый общинник пытается уклониться. Там же, где, наоборот, доход выше повинностей, массы настроены в пользу передела. Оказывается, что именно в областях с лучшими землями массы наиболее заинтересованы в переделе. Имущие же крестьяне в этих областях имеют прямо противоположные интересы.

Отмена налогов и повинностей, а также выкупной цены земли должны, таким образом (при сохранении общины), усиливать коммунистические настроения и *обострять* социальный конфликт. Известно, например, что немецкие крестьяне на юге России установили более строгие общинные порядки, когда правительство увеличило их земельные владения. Причины этого в высшей степени понятны. "Округление наделов" не могло иметь никакого другого результата, кроме укрепления коммунистических настроений. Социалисты-революционеры, по-видимому, возлагают свои надежды именно на эту логику процесса. У них есть для этого все основания.

И тем не менее для подлинного сторонника аграрной реформы программа округления наделов *сегодня* представляется неизбежной. Партия КД также включила в свою программу (пункты 36-40) соответствующие требования Союза освобождения и либерального аграрного конгресса, даже с некоторыми уступками требованиям эсеров.

* * *

Одним словом, если программа реформ, предложенная буржуазными демократами, будет осуществлена, то уже и сейчас сильный аграрно-коммунистический и социалистически-революционный дух крестьянства усилится еще больше. Индивидуалистическая программа, выдвинутая в свое время П. Струве, в этих условиях определенно не будет популярна. Русская ситуация своеобразна тем, что в России по мере "капиталистического" развития, повышения стоимости земли и ее продукта *наряду* с формированием промышленного пролетариата и распространением идей "современного" социализма будут распространяться и идеи "несовременного" *аграрного* коммунизма.

Народничество, которое все еще просвечивает в интеллигенции всех классов, в общем все же уже дело прошлое. Неясно, что заступит на его место. Но ясно, что социально-реформистскому либерализму с его реалистическим подходом к делу не удастся без тяжелой борьбы наложить узду на "широкий" русский характер. Потому что романтический радикализм социалистическо-революционной интеллигенции имеет еще одну сторону: от него и его идеи "государственного социализма", несмотря на все протесты его видных представителей, путь

легко ведет в авторитарно-реакционный лагерь. Быстрое превращение крайне радикальных студентов в крайне "авторитарных" чиновников, как сообщают нам главным образом нерусские, но добросовестные наблюдатели, не обязательно объясняется (если действительно имеет место) их личными врожденными свойствами и низким стремлением заработать себе на кусок хлеба. Не случайно имеет место и противоположное: радикализация убежденных сторонников прагматического бюрократического рационализма в духе Плеве и Победоносцева в социалистов-революционеров. Прагматический рационализм этого направления *в принципе* есть как раз тот образ мышления, которому свойственно страстное стремление к "делу" в духе абсолютной социально-этической нормы.

Аграрный коммунизм оказывается идеальной почвой, на которой происходит постоянное качание идею "творческого акта" "сверху" и "снизу", между реакционной и революционной романтикой.

* * *

Как же поведут себя *крестьяне* на выборах? Конечно, крестьяне упорно сопротивляются влиянию чиновников и консервативного духовенства. Это сопротивление сильнее всего и его легче всего объяснить не в самых бедных районах, а на юге — в казачьих областях, в Черниговской и Курской губерниях. В них, несмотря на весь контроль и давление, крестьяне принимают самые острые резолюции, требуя устранить бюрократический контроль и учредить институт выборных народных представителей. Решающий момент этих резолюций не имеет, разумеется, *ничего общего с идеями современного парламентаризма*. Они рассчитаны на то, чтобы установить *прямую связь с Царем* без посредства бесчисленных чиновников. Иными словами, крестьяне хотят, чтобы бюрократический аппарат самодержавия был устранен, но — и тут славянофилы правы — не имеют ни малейшего желания заменить его бюрократией под контролем парламента.

Никто не может, таким образом, сказать, как поведет себя крестьянство на выборах в Думу. В общем, иностранцы предполагают, что Дума окажется крайне реакционной: русские же, несмотря ни на что, надеются на крайне революцион-

ный характер Думы, полагаясь как раз на крестьянство. Те и другие имеют основания для своих расчетов; оба прогноза имеют равные шансы оправдаться. В европейских революциях нового времени крестьянство переходило от самого крайнего радикализма к безучастности и даже прямо к политической реакции, как только его непосредственные экономические претензии были удовлетворены. Нет сомнения, что если автократия (по собственному почину или под давлением) решит "заткнуть глотку" крестьянам землей, или если крестьяне в условиях анархии сами захватят землю, интерес к форме правления у крестьян угаснет.

Поэтому представители буржуазной демократии, в частности Струве, предпочли бы, чтобы реакционное правительство *не смогло* удовлетворить требования крестьян относительно земли. Этот вариант возможен, поскольку удовлетворение этих требований угрожало бы не только дворянству, но и Великим князьям и, наконец, самому Царю. Интересы крестьян не совместимы с инстинктом самосохранения этих могущественных сил.

Но какие же требования крестьян и в какой мере может удовлетворить *демократия*? Против простой конфискации земель Струве, конечно, выступает со всей энергией. Но в то же время программа конституционных демократов разъясняет, что земля будет выкупаться *не по рыночной цене*. С чисто буржуазной точки зрения это — "конфискация".

Судя по всему, часть дворянства, которое само по себе очень неоднородно ("растянулось от ступеней трона до крестьянских изб"), при нынешних обстоятельствах склоняется к тому, чтобы отдать землю. "Лучше жить в усадьбе без земли, чем, как теперь, на своей земле как в осажденной крепости", — сказал князь Долгоруков на либеральном аграрном конгрессе в Москве. Но съезд сельскохозяйственных предпринимателей (за закрытыми дверями) потребовал решительных репрессий. В любом случае, если правительство не слишком склонно к насильственным действиям, земля обойдется ему в огромную сумму денег.

Сверх всего, увеличение земельных наделов само по себе не решает аграрную проблему. Более того, если эта мера останется единственной, она вполне может нанести ущерб "техническому прогрессу". Поэтому следует предвидеть, что крестья-

яне окажутся жестоко разочарованы, после того как их требования будут выполнены. Поскольку (в конечном счете) крестьяне не "агенты" и не "почва", а в сущности "объект" аграрной политики, партия, которой придется провести аграрную реформу законодательно, окажется в незавидном положении...

Путь русской социально-реформистской либеральной демократии — это путь самоотречения. У нее нет выбора. По моральным соображениям и поскольку старый режим ведет себя так демагогически, она может требовать только безусловного всеобщего и равного права. Но ее собственные идеи могли бы стать политически влиятельными лишь в условиях избирательной системы, подобной земской. Им приходится выступать за аграрную реформу, в результате которой возникнет экономическая практика и возобладают экономические отношения не в духе технико-экономического волюнтаристского социализма, но, в сущности, в духе архаического крестьянского коммунизма. Это приведет не к отбору наиболее продуктивных в "деловом" смысле хозяйств, а к "этически" обусловленному равенству жизненных шансов для всех. Таким образом, развитие индивидуалистической культуры западноевропейского типа, которое большинство самих демократов считает неизбежным, замедлится.

Помимо этой опасной для либералов перспективы, у них еще и нет достаточно сил для борьбы, на что вновь и вновь без злорадства указывают крайние социалисты-революционеры. Сила либералов лишь в том, что *офицерство* в конечном счете не пожелает повернуть оружие против людей, с которыми оно фактически связано семейными узами. Отчасти потому же либералы делают упор на невооруженное сопротивление, и эта тактика часто имеет успех. Конечно, против решительного военного руководства все это не будет так эффективно; нынешнее восстание в Москве наглядно показывает роль военной дисциплины.

Есть, конечно, еще один, специфически "буржуазный" инструмент давления, но он находится не в руках самих русских либералов. Финансовые державы дали ясно понять, хотя и не сказали открыто, чего они хотят. Без этого не было бы Манифеста 17 октября, или он был бы быстро отменен. Страх перед возмущением масс и бунтами армии и ослабление авторитарного режима в результате поражения на востоке остались

бы без последствий, если бы не сочетались с хладнокровным и твердым давлением банков и биржи на автократию. Это принимают во внимание такие политики, как Витте и Тимирязев. Когда социал-демократическое "Начало" называет графа Витте "агентом биржи", за этим примитивным ярлыком скрывается известная правда.

В вопросах конституции и внутреннего управления Витте придерживается убеждений, с трудом поддающихся определению, во всяком случае, он часто противоречил сам себе. Интересы его определяются хозяйственно-политическими соображениями. Витте, например, проявил "мужество", взяв на себя тяжкий грех (как с точки зрения реакционной бюрократии, так и реакционной демократии) защиты частного крестьянского землевладения. На него направлена ненависть славянофилов. Сверх всего, его "незаменимость" вызывает возрастающую личную антипатию к нему Царя.

Витте мыслит безусловно "капиталистически", так же как и либералы типа Струве. Вместо того, чтобы, опираясь на руководимые автократией массы, править вопреки "буржуазии", он, конечно, охотно нашел бы общий язык с имущими классами против масс. Он, и вероятно, только он способен сейчас поддержать кредит и валюту России, поскольку готов проявить к этому волю.

Необходимое условие для этого — превращение России в правовое государство с определенными конституционными гарантиями. Витте прекрасно понимает это и, по-видимому, в своей внутренней политике по мере возможности будет действовать так, чтобы осуществить дело своей жизни — превратить Россию в реальную финансовую державу.

Однако все эти мотивы ни для Витте, ни для Царя и его окружения недостаточны, чтобы, пренебрегая всем, встать на путь либерализации. И остается лишь догадываться, при какой мере "напряжения" победит идея военной диктатуры как предшественника некоего псевдо-конституционализма.

Этот вариант вовсе не исключен, во всяком случае, в ближайшем будущем. Даже если в распоряжении правительства останется 10% офицерства (на самом деле это скорее будут 90%), количественное превосходство мятежных сил еще ничего не будет значить. Биржа откликнулась на первую кровь на улицах Москвы повышением курса акций, и все происшедшее с

тех пор показывает, как возросла уверенность реакции в себе и как изменилась позиция Витте.

Хозяйственная разруха здесь, как и повсюду, после крушения политических иллюзий приведет к тому, что воля пролетариата к борьбе угаснет. И внешнему наблюдателю кажется весьма вероятным, что к власти придет правительство, которое будет не чем иным, как правительством *чиновничества*, вполне сознающим свою роль.

Потому что социальные силы, на которые режим опирается, без сомнения и теперь лучше организованы, чем это кажется на первый взгляд. Их возрождение становится все более вероятным. Особенно потому, что сектантский и торгашеский дух "профессиональных социалистов" — даже в условиях бандитского террора со стороны почувствовавшего угрозу своему существованию полицейского чиновничества — направляет энергию своих сторонников против конкурирующих (в борьбе за свободу) буржуазно-демократических партий. Именно на этом пути, как мы хорошо знаем в Германии, разворачивается во всей красе склонность некоторых общественных групп к высокопарному обличительству, особенно живописному на фоне их полной политической импотентности и неспособности ни к какой версии политической деятельности вообще.

Эти общественные группы получают своего рода "удовлетворение" и в том случае, если верх возьмет реакция, и в том случае, если большинство имущих перейдет в лагерь "умеренных" партий. В обоих случаях они смогут, как и у нас в Германии, отвести душу, тешась приятной мыслью: "каких только негодников нет на земле".

* * *

Партия правового порядка, некоторые умеренные депутаты Думы и земские деятели (из буржуазии), а также те, кто считал, что главное это не конституция, а гарантия личных свобод и свободы прессы (хотя неясно, как это возможно практически без конституции) — все они вместе приветствовали Манифест 17 октября. В остальном же они твердо уверены только в одном, а именно, что они безусловно хотят "успокоения" и выступают за все, что так или иначе его обеспечит. Петербургский "Союз правопорядка" высказался за избирательное право для

евреев, "чтобы они успокоились". Петербургские цензовые выборщики после долгих дебатов согласились с автономией для Польши на том же основании. На том же собрании было решено отвергнуть радикальное требование отделения Церкви от государства и сохранить преподавание в школе "закона Божьего", что было сочтено необходимым условием сохранения порядка, и т.д.

В конце концов, согласились с Царем по всем пунктам, где Царь ожидал согласия. Можно думать, что подобные настроения усиливались крестьянскими и военными бунтами, угрозой всеобщей забастовки и популярностью путчизма в среде социал-демократии. Само собой разумеется, что правительство и Витте рассчитывают, что угроза анархии будет действовать в этом направлении. И в конечном счете, как выразился сам Витте, "общество само пожелает порядка" и (добавили бы мы) освободится место для лозунга "Обогащайтесь!". К тому делу и шло.

Естественно, что подобное развитие было в ущерб земской демократии. "Эпоха земского съезда кончилась", — сказал князь Долгоруков, подавая в отставку. В самом деле, время "идеологического" джентри позади — материальные интересы вновь выступают на сцену и начинают играть "нормальную" роль. Из игры при этом исключаются политически настроенный идеализм (слева) и мечтающее о расширении земского самоуправления славянофильство (справа). Ни то ни другое не должно огорчать Витте.

Несмотря на все это, возможно, что выжидательная политика Витте объяснялась иными соображениями и, более того, что у него просто не было возможности для чего-то другого. В глазах Двора (и в большой мере на самом деле) Витте — всего лишь человек, который занимает место и которого нельзя заменить, потому что он пользуется уважением на бирже, а также из-за его ума и образованности.

Между тем, бесконечные меры Министерства внутренних дел в действительности ведут к тому, что массы возбуждаются, а власти отпускают вожжи и ждут, когда страх перед "красным" террором достигнет того уровня, при котором начнутся призывы к "белому". Не следует думать, что такая политика происходит исключительно из слабости и неуверенности. Существует потребность — отомстить за 17 октября. Попутно же

эта политика ведет и будет вести в конечном счете к дискредитации освободительных движений, в особенности буржуазно-конституционного *анти-централистского* либерализма, чей вес в общественном мнении и в органах самоуправления уже несколько десятилетий вызывает ненависть реакционной и рационалистической государственной бюрократии. Несомненно, что в случае временной полной анархии у либерализма будет еще меньше надежд, чем в случае обратного усиления самодержавия, к которому, кстати, и приведет при данных обстоятельствах анархия.

Можно наверняка утверждать, что постоянная болезнь не только всех радикальных, но и любых чисто "идеологически" ориентированных политических движений состоит в исключительном "умении упускать возможности". Партийная политика русских либералов страдает тем же пороком. Так мне казалось еще осенью.

Но теперь все усиливается впечатление, что русские политики просто трезво оценивают свои реальные "возможности". "Умереннейшему" конституционному земскому либерализму на деле вообще не было предложено *никакого* участия, и совершенно очевидно, что у него не было никакой возможности что-либо изменить. Ибо несомненно: как Людовик XVI ни в коем случае не хотел быть спасенным Лафайетом, так русский Двор и бюрократия предпочли бы сделку с самим дьяволом союзу с земским либерализмом. Политическая неприязнь между группами одного социального слоя или между социально соперничающими "родственными" слоями оказывается часто — в субъективном плане — наиболее интенсивной.

Не было ни одного момента, когда у Царя появились бы хотя бы признаки устойчивого и искреннего понимания по отношению к тем, о ком он неизменно в течение шести месяцев говорил в "непарламентских" выражениях. Если это обстоятельство принимать как данное, становится ясно, что Россия "не созрела" для настоящей конституционной реформы, но дело тут не в либералах. Потому что при этих условиях всякое взаимопонимание между правительством и земским либерализмом, если оба они не имеют каких-то внешних гарантий, совершенно невозможно. Это — политически нереально.

Те, кто на это надеется, могут спасти лишь честь мундира, после того как выполнят "свою миссию". Вполне возмож-

но, хотя и не наверняка, что по-своему блестящее движение русского земского либерализма уже "принадлежит истории" — во всяком случае, в его нынешнем виде. И это было бы, по-видимому, лучше для будущего, чем "мартовское министерство". Только так сможет "идеологический" либерализм остаться на почве своих идеалов и сохранить свою потенцию от посягательства внешних сил. Именно так сможет восстановиться распавшееся в свое время единство двух интеллигенций: "буржуазной" интеллигенции, сильной своим имущественным положением, образованием и политическим опытом, и "пролетароидной", хорошо чувствующей настроения масс и исполненной духом борьбы. Последняя должна будет отказаться от недооценки того действительного значения, которое имеет столь "антипатичный" ей "буржуазный" элемент. Надо думать, что это и произойдет вследствие предстоящих ей разочарований.

О разрушении народнической романтики позаботится в дальнейшем капитализм. Ее место несомненно займет в основном марксизм. Но работу над необъятной и основополагающей аграрной проблемой не удастся осуществить только с помощью марксистских идей. Между тем, именно эта работа и сможет опять сблизить разные слои "интеллигенции". Интеллигенция, однако, по всей вероятности будет изолирована от органов самоуправления, и уже поэтому для либерализма вопрос жизни — бороться с бюрократическим и с якобинским централизмом и насаждать в массах старую индивидуалистическую идею "неотъемлемых прав человека", которая нам, западноевропейцам, кажется чем-то тривиальным, как кусок хлеба тому, кто сыт. Эта "естественно-правовая" аксиома не дает *однозначных* указаний на какую-либо конкретную социальную и экономическую программу. Не существует также неких *единственных* условий, благоприятных для нее. И уж во всяком случае ее не предполагают "современные" условия.

Напротив: хотя борьба за "индивидуалистические" жизненные ценности должна учитывать "материальные" условия и следовать по пятам за их изменениями, "реализация" этих ценностей никак не гарантирована "экономическим развитием". Шансы на "демократию" и "индивидуализм" были бы невелики, если бы мы положились на "закономерное" действие *материальных* интересов. Потому что материальные интересы

явно ведут общество в прямо противоположном направлении. В американском "благожелательном феодализме", в германских так называемых "институтах благообеспечения", в русском фабричном уставе — везде выстраивается каркас будущих отношений крепостной зависимости. Остается лишь подождать, чтобы замедлились темпы технико-экономического "прогресса", чтобы "рента" одержала победу над "прибылью", чтобы истощились ресурсы "свободных" земель и "свободных" рынков. Тогда массы станут послушными и дворец нового рабства будет достроен.

Усложнение хозяйства, расширение государственной и муниципальной компетенции, территориальное разрастание национальных популяций — все это ведет к увеличению массы канцелярской работы, появлению новых профессий и профессионального обучения в сфере управления, иными словами — новых каст. Те американские рабочие, которые выступали против "Реформы гражданской службы", знали, что они делали: они предпочитали, чтобы ими правили выскочки с сомнительной моралью, нежели патентованные "мандарины". Но их утопии — тщетны. И пусть не беспокоятся те, кого терзает вечный страх, что миру грозит слишком много "демократии" и "индивидуализма" и слишком мало "авторитета", "аристократизма" и "почтения к службе": дерево демократического индивидуализма не раскинет свою крону под небеса — это уж точно.

"История" после всех экспериментов рождает новую "аристократию" и "новый авторитет", на которые могут опереться все те, кто сочтет это полезным для себя лично или для "народа". Если дело только в "материальных" условиях и определяемых ими (прямо или косвенно) комбинациях интересов, то любой трезвый наблюдатель должен видеть: все *экономические* тенденции ведут к возрастанию "несвободы".

Было бы совершенно смехотворно надеяться, что нынешний зрелый капитализм (этот неизбежный итог хозяйственного развития), каким он импортирован в Россию и установился в Америке, как-то сочетается с "демократией" или даже со свободой (в любом смысле этого слова). Вопрос стоит совершенно иначе: каковы в этих условиях шансы на выживание "демократии", "свободы" и пр. в долгосрочной перспективе? Они смогут выжить лишь в том случае, если нация проявит решительную *волю* в своем нежелании быть стадом баранов. Мы —

"индивидуалисты" и "партийные сторонники" "демократических" институтов — идем "против течения", против "материальных" обстоятельств. Кто хочет идти в ногу с "тенденцией развития", должен как можно скорее отказаться от этих идеалов.

Теперешняя "свобода" дала первые ростки при уникальном стечении обстоятельств и условий, и они никогда больше не повторятся. Назовем самые важные из них. *Прежде всего*, заморская экспансия — во всей нашей хозяйственной деятельности веет ветер заморской романтики. Но теперь уже нет незанятых частей света; огромные континентальные области — Россия и Америка — с их предрасполагающими к схематизму равнинами, становятся все более явно центрами тяжести населения в рамках западной культурной зоны. *Во-вторых*, своеобразии экономической структуры Западной Европы эпохи раннего капитализма. *В-третьих*, завоевание жизни наукой, "возвращение духа в себя". Теперь мы имеем дело с парадоксальным результатом этого. А именно, рациональное оформление внешней жизни, ведущее к уничтожению бесчисленных "ценностей", сделало свое дело: унификация внешнего стиля через "стандартизацию" продукции в нынешних условиях "бизнеса" универсальна. И наука как таковая теперь больше уже не "университет личности". *Наконец*, в конкретных и своеобразных исторических обстоятельствах возникло особое религиозное настроение, породившее "ценностные представления", которые в комбинации с бесчисленными и тоже своеобразными политическими обстоятельствами и материальными предпосылками определили "этическое своеобразие" и "культурные ценности" современного человека.

Сможет ли какое-либо материальное, а тем более нынешнее "позднекапиталистическое" развитие сохранить эти своеобразные исторические условия или создать их заново? Ответ напрашивается. Нет ни тени намека на то, что во чреве экономического "обобществления" содержатся в зародыше "свободная личность" или "альтруистические идеалы".

Есть ли признаки чего-нибудь подобного в идеологии и практике тех, кого, как им самим представляется, "материальные" тенденции ведут к победе? "Правильная" социал-демократия гонит вымуштрованную массу на своего рода духовный парад, суля ей вместо потустороннего рая рай на земле. Вспомним, что в свое время пуритане рассчитывали на *потусторонний*

рай за дела, совершенные *здесь*. Социал-демократия превращает обещанное "царство небесное на земле" в своего рода прививку оспы для тех, кто заинтересован в существующем порядке. Она приучает своих воспитанников подчиняться догмам и авторитетам, к бесплодным спектаклям массовых забастовок и к бездейтельному наслаждению гневной бранью своих присяжных журналистов — безвредной и даже смешной в глазах противника, а также к упоению "истерической аффектацией", вытесняющей полностью экономическую мысль и деятельность. На этой стерильной почве, после того как "эсхатологический" момент движения остался позади, а поколение за поколением тратили свои силы на сжимание кулаков в карманах и скрежетание зубами, не может взойти ничего, кроме умственной и духовной тупости.

А время не ждет: надо действовать, пока подходящий момент не прошел. Если на протяжении ближайших поколений, пока еще не отжили свой век проклинаемые "анаархия" производства и "субъективизм", не удастся завоевать право на свободу "неотчужденной" "личности", которая (свобода) возможна именно на базе этой "анархии" и этого "субъективизма" и только на их базе, — значит, этого, возможно, не удастся добиться никогда. Насколько нам позволяет судить наше слабое зрение, с трудом различающее сквозь непроницаемый туман контуры будущей истории.

Россия теперь окончательно встала на путь европейского развития, каковы бы ни были в ближайшее время возможные тяжелые рецидивы. Властное проникновение западных идей разрушает здесь патриархальный и консервативный коммунизм, точно так же как прибытие в Соединенные Штаты европейского, особенно восточноевропейского человеческого материала разрушает старую демократическую традицию — в обоих случаях в союзе с силами капитализма. В некоторых отношениях — как позднее обнаружится — несмотря на все колоссальные различия в путях капиталистического развития, оба эти главные людские резервуара вполне сопоставимы. Оба непоправимо оторваны от "исторического". Оба "континентальны", и их горизонт открыт во все стороны. Но самое важное, что их роднит: в известном смысле это две последние возможности возникновения спонтанной "культуры свободы". И поэтому,

несмотря на все национальные различия между русскими и нами, включая, может быть, различия национальных интересов, мы смотрим с глубоким сочувствием на русскую освободительную борьбу и носителей свободы в России, независимо от того, какого они "направления" и к какому принадлежат "классу".

Их работа не останется бесплодной; об этом позаботится сама рождающаяся псевдоконституционная система. В самом деле, что касается негативной стороны возникающих проблем, то, вероятно, надо согласиться с "теоретиками развития". Согласно их логике, русское самодержавие в том виде, в каком оно сохранилось до сих пор, то есть в виде централизованной полицейской бюрократии, даже в том случае, если оно победит ненавистного врага, по всем очевидным признакам не имеет никакого другого выбора, кроме как рыть самому себе могилу. Так называемый "просвещенный" деспотизм противоречит интересам своего же самосохранения. Чтобы сохранить престиж, самодержавие вынуждено брататься с теми экономическими силами, которые в *русских* условиях оказываются носителями неукротимого "просвещения" и "разложения системы". Струве и другие, очевидно, совершенно правы: пытаясь решить любую серьезную проблему, самодержавие при этом смертельно ранит само себя.

Пока эти строки набираются, они несомненно уже устареют. Никто сегодня не знает, какие надежды либералов на реформу, освобождающую общество от пут бюрократического централизма, осуществляются, а какие, наоборот, рассеются как мираж. Крушение надежд не обязательно будет означать неприкрытую реставрацию. Возможно, что будет принято некое подобие "конституции", а вместе с ней появится больше свобод для прессы и личности. Потому что даже самые решительные приверженцы Старого режима отдадут себе отчет, что если бюрократия задраивает все окна и двери, то в конце концов она сама принуждена двигаться наощупь в потемках. В то же время бюрократия, обратившись к чужому опыту, должна бы рассчитывать, что псевдоконституционализм в комбинации с какой-либо экономически ориентированной "политикой консолидации" окажется более эффективным средством, чем непо-

воротливое самодержавие. Некоторое увеличение мобильности, включая свободу передвижения, кажется неизбежным. После царства полного произвола это может показаться не так уж мало. Но типичные и собственные элементы социально-реформистской буржуазной культуры окажутся при этом политически элиминированы — как в плане программы, так и в плане "личных" свойств представителя этой культуры. В этом отношении бюрократия автократического режима и на этот раз скорее всего пожнет плоды долголетней политики. Суть этой политики в том, чтобы, с одной стороны, обуздать капитализм, а с другой стороны, сдерживать любое развитие буржуазной самостоятельности, в то же время натравливая классы друг на друга. Этот успех вероятен, потому что конституционная и антицентралистская реформа, рассчитанная на сравнительно долгое время и каким-то образом умиротворяющая всех, оказывается *сегодня* вряд ли возможной при участии либеральной интеллигенции, даже если бы у монарха нашлись бы желание и потребность взять на себя роль реформатора.

Но, разумеется, победа бюрократических интересов в России не будет последним словом истории. Выборы могут привести к сговорчивому "народному представительству" — это ничего не будет значить. Крестьянство необозримой империи будет еще больше ненавидеть "чиновников", даже если в империи воцарится гробовое спокойствие.

То что произошло — события, обещания, надежды — трудно будет забыть. Любое проявление слабости марионеточной государственной машины всколыхнет общественное мнение. Пугающее убожество "духа", которое обнаружил по видимости "сильный" режим, несмотря на якобы присущую ему утонченность техники управления, надолго останется в памяти широких масс. Но теперешняя система, исходя из соображений собственной прочности, не может принципиально изменить и своих методов правления. Таким образом, она будет продолжать политическую традицию, которая порождает разрушающие ее *политические* силы. Соответственно ее экономические союзники — имущие классы — будут снова и снова склоняться на сторону ее противников. Это — неизбежное следствие господства бюрократии и полицейской демагогии. Но иллюзии и ореол, которыми она была окружена и которые маскировали

роковые тенденции, теперь рассеялись. После того, что произошло между Царем и подданными, ей будет трудно "сохранить лицо" и вновь повести игру в прежнем духе. Слишком многие узрели ее во всей наготе. Теперь они могут, смеясь ей в лицо, повторить слова Шиллера: "Волшебник, твоему волшебству конец — твои потайные карманы пусты!"

1906 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Макс Вебер (1864–1920) — одна из ключевых фигур в истории современной общественной мысли. Он внес существенный вклад в разработку таких отраслей знания, как социология религии, права, власти. Ему принадлежат работы на темы, определившие как характер самой социологии, так и важнейшие объекты ее внимания: социальную структуру, социальное действие. Но с точки зрения более широких общественных интересов наиболее острыми сегодня оказываются, пожалуй, его суждения о реальной политике и реальных политических силах общества: институтах власти, партиях, классах, статусных группах. Много важного Вебер написал о бюрократии, капитализме, социализме.

Сегодня все еще трудно понять, насколько велико влияние Вебера на нашу культуру и общество. Несмотря на необозримый комментарий к Веберу, кажется, что основательное освоение его наследия только начинается. Когда Вебера сравнивают с Марксом — а принято считать, что это фигура того же порядка, — обычно указывают, что взгляды Маркса овладели массами, в то время как взгляды Вебера остались достоянием университетов. Будет ли это так всегда? Или широкое влияние Вебера на социальное и политическое развитие, а не только на науку еще предстоит? Будущее покажет.

Есть основания полагать, что взгляды Вебера в конце XX века соответствуют состоянию общества и других элементов нашей культуры в самом широком смысле.

Для русскоязычного читателя две работы Макса Вебера о русской революции представляют особый интерес. Их обсуждение на русском языке неизбежно, несмотря на все их неудобство, как для официальной советской, так и для фольклорной антисоветской историографии. Естественным первым шагом в этом обсуждении будут переводы этих работ на русский язык.

Впервые эти работы были опубликованы в номере первом 22-го и номере первом 23-го тома (1906 год) журнала «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik». Они представляют собою аналитические хроники. Их полный перевод составил бы толстую книгу. Поэтому для начала

мы переводим их сокращенные версии, опубликованные в сборнике статей Вебера под названием «Politisch Schriften». Сборник этот, впервые появившийся в 1924 году, несколько лет спустя после смерти автора, переиздавался затем неоднократно.

То, что Вебер писал по горячим следам о первой русской революции, сегодня, конечно, чрезвычайно трудно читать. Хорошая "академическая" публикация предполагала бы составление обширного комментария и большой разъяснительной статьи, вводящей работы Вебера в нужный контекст. Но наша публикация не академическая. Она рассчитана не столько на готовый контекст — тем более, что его, вероятно, и не существует, — сколько на последующее возникновение контекста. Статьи Вебера предназначены не для простого чтения, а для работы с ними. Всеобщий интерес к истории русской революции позволяет предположить, что те, кому эти работы попадутся на глаза, попробуют в них разобраться. В конце концов, львиная доля культуры есть бесконечный комментарий к "темным местам" в чьих-то писаниях. Правда состоит в том, что на самом деле мы обновляем свои представления, только столкнувшись с непонятным.

То, что писал Вебер о русской революции, не антиквариат. Его работы нуждаются не столько в профессиональной описи, сколько в использовании для практических умственных целей теми, кого интересует сам объект. И это будет процесс не индивидуального освоения, а коллективного. Это будет долгий процесс, как всегда в таких случаях. Когда-то Карлейль так говорил о предстоящем и неизбежном, как он считал, процессе эмансипации личности: "Пройдут тысячелетия, пока ты только-только народишься, и еще тысячелетия молча ждут, чтобы узнать, что ты решишь со своей жизнью делать". Макс Вебер любил цитировать это романтическое кредо.

С того времени, как началась русская революция и Макс Вебер комментировал ее, прошло почти столетие. Комментарий к революции необозрим. То, что думал по этому поводу Макс Вебер, не было принято во внимание. Возможно, на то были основания. Но чем больше мы будем вчитываться в его комментарий сегодня, тем яснее для нас будет, что пришло время к нему обратиться, и в академическом, и в политическом плане. Естественнее всего было бы, если бы это произошло прежде всего там, где говорят и думают по-русски, но этого не случится, пока суждения Вебера о русской революции остаются тайной для русских. "Рассекретить" размышления Вебера о русской революции — единственная цель этой публикации.

А.К.



Л. Гиршович

ЧАРОДЕИ СО СКРИПКАМИ

Всякая неправда есть зло, ее обличение есть благо.

Это сказано Толстым, а где и по какому поводу — лучше об этом умолчать, в интересах данных заметок. По крайней мере, покуда на их счет у читателя не сложилось еще собственного мнения. Зло, на которое я восстаю, локально, незначительно — в масштабе так называемых мировых проблем. Потому я все отказывал и отказывал себе в удовольствии написать о предмете, в котором, единственном, быть может, действительно что-то смыслу. К тому же мне казалось: это и так всем известно и если об этом никто не говорит, то скажут вот-вот. А нет. У Гессе мелькает об исполнительстве, за динамикой и движением, за истолкованием музыки, позабывшем о самой музыке. Тепло, но и только. Стравинский много и часто говорит о произволе исполнителя, дирижера, бранит само понятие интерпретации (в нотах все написано), но то ли абсолютный профессионализм не позволял ему сделать еще один шагок в сторону решающего обобщения — для обобщений Господь Бог сотворил дилетантов, этим море по колено; то ли наоборот, дилетант-инструменталист, Стравинский питал в душе слабость к тому, в чем лично не преуспел (во всяком случае, вид музыканта, извлекающего звуки из своего инструмента, по его мнению, должен был сопутствовать восприятию этих звуков /по поводу и в осуждение тех, кто слушает музыку с закрытыми глазами/); то ли... я в самом деле не прав — хотя и не могу себе этого представить.

Нет, я убежден, прав я — тем не менее два десятка лет я откладывал написание этих строк. Повторяю: тогда, в восемнадцать лет, мне это казалось слишком очевидным — при несую-

щественности самой темы, которой пришлось бы однако пожертвовать столько сил (расход их был бы гораздо большим, нежели теперь); и потом мои сверстники, те, перед кем я высказывался, вроде бы отлично меня понимали, а что до взрослых, они мнились интеллектуально бесправными, с них, с наших учителей, кончавших сталинские аспирантуры, нечего взять. Так и не удосужился я ни слова написать против той лжи, в которой, можно сказать, всю жизнь участвовал — только случайное стечение обстоятельств (частного свойства, как обычно и бывает) побуждает меня наконец явить товар лицом.

Я себя помню примерно с двух с половиной — трех лет. Родители скрипачи: будничное барокко обечаек, эфов, головок струнных инструментов в вонючем потрохе коммуналки — тогда как на свежем воздухе привычные завитки капителей, елисаветинско-расстреллиевского ордена; и все это синтезировано на ночь глядя в контурах первосортного ночного горшка (горшок третьего сорта, с ручкой изнутри — была такая штука). Все вокруг, весь Ленинград, включая и меня, шестилетнего, играл на скрипке — своими театрами, ДПШ, кино, музшколами; думаю, что и реально: количеством оркестров — еврейских струнных муравейничков — безвестных и именитых, Ленинград, не говоря уж о лопающейся Москве, заткнет за пояс берлины, парижи, мюнхены, римы, лондоны (о Новом Свете и о Японии судить не берусь).

Чтобы не быть голословным, предлагаю перечень ленинградских оркестров, вероятно, неполный: два филармонических оркестра — один всемирно знаменит, с 55 г. ездит по границам, оркестр радиовещания, оркестры — Мариинского театра (полуторный состав, три представления в день — как в цирке, где, кстати, тоже свой оркестрик), Малооперного театра, Оперной студии, театра оперетты, симфонический оркестр — минимум полсотни душ — играющий по пятнадцать минут перед началом трех последних сеансов в одном из больших кинотеатров, камерно-симфонический оркестр областной филармонии (при Институте театра, музыки и кинематографии), три-пять оркестров, закрепленных за драматическими театрами (по составу тоже камерно-симфонических), не считая полновесных студенческих оркестров в консерватории и училищах, где струнники очень даже профессиональны; кроме того, в десятке кинотеатров, перед сеансом, под хруст пломбира в стаканчике играют оркестрики свадебного состава и побольше, да еще вроде бы что-то музыкальное существует в сапогах и с погонами. Какой там Париж — на всю Францию хватит и еще останется. И это при том, что музыкальная культура масс продолжает быть на неандертальском уровне. Потенциальным спорщикам возражу: сколько народу в СП в силах промурлыкать первый вось-

митакт сольминорной симфонии Моцарта — в СП, не в ремесленном училище! А ведь это то же, что “ветер по морю гуляет”.

Среди других отборных детей я проходил выучку игры на скрипке в мифологической “школе-десятилетке” — касаясь нашей отборности, могу сказать, что блат при поступлении, конечно, срабатывал, но все равно в конце года “профнепригодные” бесшумными тенями отлетали в свой аид. Помню дочурку директора (дирхоровика — я бы очень удивился, если б эту должность однажды заступил скрипач) и учительницы арфы, одноклассницу, продержавшуюся до четвертого класса, перескакивая, как с льдины на льдину, с одного инструмента на другой. Отчисленный ребенок мной, по крайней мере, действительно воспринимался как умерший — случайная встреча с ним в городе; что, право, почему-то случалось редко, казалась событием спиритического порядка. Будучи и сами немножечко мифом в глазах улицы, мы питались мифами о своих гераклах-скрипачах: Яша Хейфец, Миша Эльман, Тоша Зайдель — все в коротких штанишках собственных имен (Стравинский в связи с этим: “Они называют себя вместо Александра — Сашей, вместо Якова — Яшей, вместо Михаила — Мишей; иностранцы, не знающие русского языка и русских обычаев, не могут себе представить, как коробит подобное безвкусие”. /Подлинное имя Хейфеца — Иосиф, а не Яков/). И заметьте: все обретаются в заокеанских далях — между прочим, типичная черта провинции: жить волшебными сказками. Москва, реалистическая, верившая в себя, имела совсем другую, свою карту звездного неба. Московская скрипичная игра серьезно отличалась от провинциально-ностальгической ленинградской — почему бы с места в карьер не поговорить об этом?

То, что на Западе все подряд называют русской скрипичной школой, есть результат общего смешения прилагательных “русский” и “советский”, они же, как бы тесно ни прилегали друг к другу, как семядоли — никогда не срастутся. Русская скрипичная школа — это в сущности класс Леопольда Ауэра, вместе с которым он эмигрировал в семнадцатом году. Австро-венгерский еврей, Ауэр, европейски известный скрипач, концертмейстер дюссельдорфского и гамбургского оркестров, занял в Петербурге место ушедшего Венявского. Учил он на немецкий лад, просто и жестко, его методические положения, описанные им в “Моей школе игры на скрипке”, не блещут

особой оригинальностью и изощренностью

Другое дело, что тайну обучения игре на скрипке невозможно разгласить, поведав ее бумаге. Авторы методических пособий — это, как правило, шарлатаны, не выучившие в своей жизни еще ни одного человека играть — здесь со мной согласятся даже те из моих коллег, кто ни в чем со мною не согласен. Для меня всегда был загадкой, как Б. Кузнецов, этот нейрохирург скрипичного дела, мог всерьез относиться к своим брошюрам, написанным наукообразным “методическим” слогом — типичного профессора кислых щей. (А передать требовалось с полной ясностью великое множество мышечных ощущений.) Практичный Ю. Янкевич, после смерти Ямпольского корифей советской скрипичной школы, тоже что-то написал — но здесь иначе: по чину полагалось иметь труды.

— критерием по-прежнему оставался слух (мне возразят: разве может быть иначе? В том-то и дело, что может). То есть господствовавший принцип подтягивания мышечного, физиологического, под требования слуха был, как и при Леопольде Моцарте — “через *не могу*”. Только в отличие от других современных ему профессоров, эти требования Леопольд Ауэр реализовывал до последнего предела. Тут заслуга его профессиональной бескомпромиссности, деспотического характера, а главное — нескромных замечательных параграфов, касавшихся подданных российской короны иудейского вероисповедания. Этим я объясняю фантастический успех педагогики Ауэра в России. Об особом таланте евреев, по преимуществу русских, к игре на скрипке говорится часто — евреями с гордостью (прямо уже совсем какой-то армянской), прочими с восхищением, если лицами заинтересованными, то с завистью

Не далее как минувшей ночью (14.5.87) наш оркестр возвращается из Дюссельдорфа в Ганновер — концерт по случаю открытия какой-то промышленной выставки: аплодисменты между частями и т.п. Сзади меня пара немецких скрипичных подмастерьев “говорит за жизнь”: разве у нас в Ганновере консерватория... разве у нас в Германии что-то умеют (в смысле играть на скрипке). Вот в Москве — полный чулочек... конечно, русская школа... Эх, даже поляки играют лучше, чем у нас... даже болгары, казалось бы совсем еще с дерева не упавшие... — они напрочь забыли, эти двое каргофельных скрипачей, что их детям, чтобы съездить за границу, нет нужды играть десять предварительных прослушиваний на международный конкурс или на худой конец устраиваться в один из пяти выездных оркестров. Между прочим, Ауэр окончил именно ганноверскую консерваторию у преподававшего в ней Иоахима (середина 60 гг. прошлого века). Думаю, получи он тогда в своей альма матер класс — хоть бы и из одних немецких евреев — все равно музыканты во всем мире сегодня не толковали бы, как о чем-то сказочном и непостижимом, о северонемецких или ганноверских скрипачах.

— антисемиты же ухитрились увидеть в "скрипочке" еще один довод в свою пользу. И никто не учитывает, что скрипка — инструмент изначально мирской — выводила еврея в "благородные господа" лучше всякого другого ремесла. Со времен романтизма разделение труда установилось и в музыке; но представление, сформулированное советским поэтом — что "Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет"* — оставалось в силе по старой памяти, когда композитор и исполнитель уживались в одном лице. Так понятие *артист* — с XIX века властитель душ, приближенный Бога — вбирает в себя и Крейцера, наряду с Бетховеном. А если с восприятием какого-нибудь очередного Бетховена еще вдобавок возникали трудности, то тем большим наслаждением было для публики числить в великих артистах очередного Крейцера. Потому даже не в благородные господа — выучившись на скрипке, русские евреи попадали из грязи в князи, в князья культуры, духа!.. Перехватываю возражение: людей, одаренных исполнительски, в мире страшно много, куда больше, чем принято это считать (для множества народов это даже не одаренность, а норма), мало других — способных претерпеть известные муки ради воплощения своего дарования на уровне современных требований. И тут среди евреев процент таких страстотерпцев действительно высок — всяко превышает отпущенные им по закону два процента. Результат: отмена двухпроцентной нормы в Санкт-Петербургской консерватории,

Сам Ауэр палец о палец не ударил, сражались Римский-Корсаков, Глазунов — он, Ауэр, солист двора его величества да еще к тому же еврей — ему надо пальцы беречь. Правда, когда Цимбалист однажды в пятом году явился в красной рубашке на урок, Ауэр хоть и выставил его, но не более — покойный Леонид Борисович Коган едва ли ограничился бы такой полумерой (а вообще начальство должно понимать: исполнитель — человек благонамеренный при любом режиме, он бережет руки, ему надо заниматься).

а также всеобщее мнение, что — цитирую Стравинского, первую половину уже приведенного пассажа об именах — "еврей... обладает всеми природными качествами, делающими представителей этой нации бесспорными мастерами смычка. У самых знаменитых из этих виртуозов фамилии действительно еврейские" (а вот имена почему-то русские уменьшительные, удивляется

* Хочется ответить Окуджаве словами анекдота: и поет и играет бельная собачка.

композитор). Прославленная русская скрипичная школа — это та же немецкая школа à la Донт, à la Иоахим, лишь испробованная в условиях бесправной, но отчаянно рвущейся наверх еврейской России. Причем Ауэру вовсе не надо было, ради достижения успеха, с равным усердием муштровать поколение за поколением проходивших через его руки скрипачей — а он провел в России столько же, сколько Израиль в пустыне — сорок лет; лиха беда начало, как говорится: должен возникнуть новый уровень, а далее — уровень сам себя, обычно, воспроизводит.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что евреи из числа народов с активной музыкальной восприимчивостью, но повторю: таких народов на земле пропасть — по части спеть-сплясать. Русские тоже были такими, а сейчас только пляшут — точно: ленинское политбюро чистенько пело “Интернационал”, нынешнее — фальшь разводит; боюсь только, любители подсчитывать процент евреев в ленинском политбюро меня легко опровергнут. А вот что действительно важно помнить: лишь богатое просвещенное еврейство в Империи тянулось к русскому, прочие — еврейская ремесленническая провинция — были как тот волк, который все в лес глядит. Своеобразное “западничество” еврейских низов в России по их интеллектуальным возможностям прежде всего выразилось в симпатиях к западноевропейским созвучиям. Ничего подобного в русском мещанстве не наблюдалось.

Я думаю, что сужу об Ауэре не совсем понаслышке. Я начинал учиться у Л.М. Сигал, ауэровской ученицы, популярной детской учительницы — от которой, однако, если ученик не ускользал в определенном возрасте, то она его, так сказать, засушивала. Она руководствовалась немудреной скрипичной шагистикой старонемецкого толка: скрипку наверх, левый локоть у правого соска, кисть должна торчать как надутый парус (“Ты нищий скрипач? Копеечку в ладошку просишь, да?”), правая же рука, та, кроме шуток, двигалась как при строевом шаге, только что “у носа кисть горочкой, а книзу ямочкой”, каждый такт в нотах обведен многократным темпераментным кружком, над которым стояло: 10 раз! 25 раз! 7 раз! (Мой отец, тоже начавший в свое время — 1926 год — у ученицы Ауэра — Банцековой, на втором уроке повалился в обморок). Страшала меня Сигал — как и других пригостишек, это было еще в дошкольной группе — отчислением с волчьим билетом; я, впрочем, не очень боялся, полагая, что родители меня выручат. Сейчас я знаю: Сигал была хоть и вздорной, но доброй женщиной — излишне привязчивой к плохо одетым замерзшим молодым людям со скрипками (один из них, уже покойный Борис

Гутников, вовремя бежал из-под опеки Любви Марковны к ее заклятому врагу, профессору Эйдлину, другой, Яков Рябинок, сохранил ей верность — чем может утешаться).

Последние месяцы жизни Сигал ходила с палкой — результат увечия, нанесенного ей ее гениальным учителем: маэстро сидел, точнее, возлежал на диванчике,

Уже в наше время злой маразматик ректор Серебряков распорядился вынести из классов эту топкую мебель — чтобы не провоцировала студенток уступать низменным инстинктам студентов. Серебряков на старости лет на этом свихнулся. Он самолично отслеживал студенток в брюках. Некто Артеман, соблазненный сокурсницу, но при этом отказавшийся загладить грех браком, заглаживал его трехлетней службой в армии.

положив ногу на ногу, а юная Любовь Сигал что-то над ним играла, клонясь незаметно скрипкой долу. — Выше скрипку, — сказал Лев Семенович раз, другой, а на третий раз он, так ценивший выправку — дабы, чего доброго, его скрипачей не путали с клезмерами, недаром Сигал стыдила: "Смотри, подадут милостыню", — на третий раз он решил носком штиблета показать, что значит выше: метил-то он в локоть да, будучи, очевидно, не в ладах с карате, саданул по коленной чашечке, которую повредил скрипачке на всю жизнь. — С тех пор уж я держала скрипку высоко, — казалось, она навсегда сохранила Ауэру признательность за это.

Сигал жила на Кировной (еще не переименованной), мы жили на углу Пестеля и Литейного (я должен был видеть рыжего подростка, 12, 13, 14-летнего, по имени Иосиф). И когда что-то в очередной раз полетело у нее в колене, то мы — я в сопровождении домработницы — заезжали за ней на такси, довозя ее до консерватории — откуда десятилетка была в двух шагах (кстати, именно в ней всегда, и безо всякой школьной реформы, обучение продолжалось одиннадцать лет — десятилеткой она называлась в противопоставление районным музыкальным семилеткам). Мне врезалось в память: мы с Улей (домработница) слушаем, как Сигал и шофер ругают Сталина — за стеклом Ленинград, темное, едва брезжащее светом утро, осень 55-го года. Долго мне кататься в школу на такси не пришлось, той же осенью Сигал умерла — не из-за коленной чашечки. Какая-то нелюдь позвонила к ней и сказала, что Яша Рябинок попал под трамвай*.

* Спустя семнадцать лет из кабинета проректора с тем же, примерно, позвонили к родителям студента Б. — недавний ученик моей матери, он отказался сделать подлость своей учительнице, уезжавшей в Израиль.

В революцию Леопольд Семенович Ауэр оказался на Западе, а вместе с ним и личный состав русской скрипичной школы — от души желаю удачи тому, кто захочет проследить ее дальнейшую судьбу в потоках прочих скрипичных школ, в наш беженский век достигавших нью-йоркской пристани (франко-бельгийской, с ее правым локтем, недвижно-вздыбленным, как в гипсе; австро-венгерской — наоборот, еще недавно учившей водить смычком, держа под мышкой книжку; румыно-цыгано-одесской, с их анархистским: та играйты хоть носом, хлопци, гыльки б получалось — одесской, читатель — узелок на память).

В Петрограде от ауэровской школы осталась одна только пыль, крошки — по стенкам формочки, в которой она выпекалась. Ветер (который на всем белом свете) намел туда еще чего-то (со всех пределов), и эта смесь, петербургского с нижегородским, утвердилась в пропахшей до третьего этажа щами — по выражению профессора Шера — ленинградской консерватории. В 1926 году в Ленинград вернулся единственный соперник Яши Хейфеца в ауэровском классе, Мирон Полякин — обладатель легендарного скрипичного дарования и столь же легендарного своею ограниченностью интеллекта. О Полякине ходило много анекдотов. Типичный из них: Ауэр говорит своему ученику: — Пока не прочитаешь какую-нибудь книгу, на урок не приходи. — На следующий урок Мирон является с воот такой книгой. — Прочитал, Лев Семеныч. — Смотрит Ауэр название, а там: "Половая жизнь ящериц". Когда сообщили об очередном переименовании "чеки", Полякин, завидя в трамвае Шера, закричал на весь вагон: — Веня, слышал, ОГПУ отменили! — Задастый маленький Шер в охапку кушак и шапку — и спрыгнул на ходу с трамвая.

С его опрометчивым языком и примадонскими капризами Полякин быстро остался в Америке без антрепризы, но окончательно погубило его волнение на эстраде. (Страх перед публичным выступлением — это казнь египетская. Любой страх унизителен, но сила воли позволяет его скрыть на словах и на деле. Этот же еще и тем оскорбителен и ранит чувство моего человеческого достоинства, что не подчинен моей воле, его последствия не зависят от моего личного мужества. Я — объятая ужасом сороконожка, ибо вопрос, что делаю тридцать девятой ногой, когда подымаю четырнадцатую, мне в любой момент

может быть задан — как-то в порядке профессионального треп а пожаловался одному из наших солистов, что вот заело еще в детстве чепуховое группетто в моцартовском концерте и все, так этот концерт мне и заказан... — Молчите, не говорите, какой концерт! — закричал тот. Волнение исполнителя иррационально, оно состоит в совершенно произвольной связи с его профессиональными достоинствами, с данной концертной площадкой. Правда, с годами солист приравливается к этому чувству, привыкает блокировать свое сознание, но, ей-Богу, мало таких, для кого выход на эстраду становится рутиной. А как тяжело переносится исполнительское волнение в детстве и в юности! Я думаю, не очень ошибусь, сравнив это состояние, неизбежное и безрассудное, с муками ревности). Полякин, вундеркинд, с пеленок приученный, казалось бы, к выступлениям, впадал в страшнейший "лямпенфибр" — так это тогда называлось и в России. На концертах его попросту не слушались пальцы. Зато в классе он бывал неотразим — в классе профессора Полякина не студенты играли своему учителю, а учитель играл студентам, своим, чужим — послушать его набивалось много консерваторцев, тех самых бескорыстных ограниченных энтузиастов, которых я видел уже седыми, разыгрывающими вальсы в "Титане" и в "Художественном". Не боясь забыть, смазать, остановиться, Полякин часами был готов играть перед восхищенной аудиторией, но надо ли говорить, что преподавателем он был никаким.

От Полякина осталось несколько грамзаписей, сделанных в тридцатые годы в Советском Союзе. Одну из них больно слушать: скрипач спотыкается, делает несколько тщетных попыток вынырнуть, прежде чем ему это удастся, и побитый, с жалким "музыкальным" фасоном доводит пьесу до конца. Играть в микрофон тогда было еще страшней, чем на публике: вспыхивала красная, с потеками масляной краски, лампочка — и все. Малейшая твоя случайность словно в камне высекалась, навсегда становясь достоянием далеких поколений. Впрочем, один мой учитель

Сергеев — угрюмый сухой бобыль с землистым лицом — но с еще фатоватой шевелюрой и со следовательской, имитирующей пронидательность, усмешкой. Когда я пришел к нему с известием, что еду в Москву, он кричал мне: — И ты подлец, и мать твоя подлец! — Любой преподаватель травмирован уходом ученика; то, что я не променял его на кого-то другого из Ленинграда, еще не

так больно ударяло по самолюбию и престижу. Тем не менее, опасаясь, как бы Сергеев в гневе не вернул ежегодное подношение — здесь удесятеренное выпускным экзаменом и предстоящим прощанием — мы пустились на хитрость: в этот год ему дарился, предположим, не хрусталь (“горки” в учительских домах — это витрина с чешским хрусталем!), но коньяки, всевозможная гастрономия. Ко времени моего с ним финального дуэта все было выпито и съедено, от недавних залогов верности остались только два блюда из-под фаршированной рыбы, которыми он меня немедленно нагрузил. По крайней мере на словах он любил еврейскую кухню и часто вспоминал еврейскую столовую на Невском; он был из тех русских, что обожают “поверять” — евреям — еврейские фамилии своих дедушек. — Я жид! Я жид! — вдруг начал бить себя в грудь Сергеев. Он умер лет 10 назад, — удостоившись профессуры или в доцентах, мне не известно. Он готовил “крепких середняков” с отставленным за версту указательным пальцем на смычке (для крепости), но по-настоящему хороших скрипачей у него не было. С гордостью он вспоминал, что сколько-то лет у него проучилась лауреатка Гринденко, перехавшая в Москву к Янкелевичу, “ввиду ленинградского климата” — я слышал Гринденко однажды на всесоюзном конкурсе в Ленинграде, она стяжала на нем чуть ли не первую премию, но ее звезда горела слабенько, пока — в связи с бегством Максима Шостаковича — и вовсе не потухла, верней, не превратилась в лампадку. В качестве солистки Гринденко сопровождала тогда *избранного свободу творчества русского дирижера* — я не иронизирую: когда русский человек стоит за дирижерским пультом, он вправе зваться “русским дирижером”; а на Западе Максим Шостакович действительно свободен — уж во всяком случае от необходимости публично доказывать, что его отец до мозга костей советский патриот, посмертно оболганный отщепенцем. Но кое-что все же, конечно, может взбесить. Будучи еще “советским дирижером”, Максим Шостакович стал во главе оркестра, из которого выпустили кровь в прямом смысле слова: после того, как другой “советский дирижер” дезертировал в Израиль, данный оркестр-полк был объявлен суммой вакантных мест — по своей бесчеловечности вещь неслыханная в оркестровой практике, нельзя гнать многолетнего оркестранта в сольной борьбе отстаивать свое место даже при наличии объективного жюри. Когда 80-90 процентов музыкантов было выброшено на улицу, Максим Шостакович продолжил командование заново укомплектованным музыкальным соединением (через несколько лет он сбегает сам, а вторично запятанный оркестр казнен окончательно и даже его имя вычеркнуто из списков). Я не ставлю целью кинуть в Максима Шостаковича ни камнем, ни чем иным. Хоть и недолго, я все же жил в Советском Союзе: выше определенной ступеньки там уже невозможно деление людей по моральному принципу — не только на злых от природы и не злых от природы. Уйди Максим Шостакович со своего поста, откажись от собственного оркестра в Москве — он бы мигом попал в ненормальные, в потенциальные диссиденты — и Лжедмитрием так бы и проходил всю жизнь (впрочем, быть может, сыну Шостаковича это пристало больше, чем кому-либо). Нет, удручает другое совсем: мы жалуемся на пресловутую двойную мораль — следствие четкого водораздела в сознании Запада между европейцами и русскими. А сами? Советский — или русский, как будто просто слово что-то меняет — дирижер Максим

Шостакович морально благополучен, тогда как Рихарду Штраусу отнюдь не прощен концерт, которым он согласился продирижировать вместо еврея Вальтера. Или Фуртвенглер: вслед за Ахматовой мог бы он повторить: "Мне голос был, он звал утешно", но именно за то, что не последовал Фуртвенглер этому зову, на нем — клеймо. Хотя известно: когда "утешному" голосу можно было еще внять, Фуртвенглер изо всех сил боролся за филармонистов-евреев (и потом в Берлинской филармонии как-никак не объявлялся *полный* конкурс на живые места). Или когда тот же Рихард Штраус в 36 г. на открытии Олимпиады продирижировал *своей* праздничной увертюрой — и более ни разу ни в чем подобном не участвовал — разве хотя бы отдаленно могла Германия претендовать на сравнение с Советским Союзом времен XII съезда ВЛКСМ, к которому Шостакович написал знаменитую "Праздничную увертюру"?

любил щегольнуть оригинальным суждением в пользу старых звукозаписей: они, якобы, сохраняют живой тембр звука, в отличие от "долгоиграющей химии". Поскольку сравнивал он с долгоиграющими пластинками 50-60-х годов, по преимуществу Апрелевского завода, своя правда в этом была.

Умер Полякин перед самой войной (когда так говорилось о ком-то, мальчиком я думал: не узнал правды; для сравнения: сегодня, узнав о чьей-то смерти, я машинально себе говорю: *его* третья мировая уже свершилась). Итак, Полякин умер перед самой войной, в мае 1941 года, в поезде — сорокашестилетним; врачи, якобы, утверждали, что его сердечная мышца была изношена, как у девяностолетнего старца (из разговоров). Из четырёх самых лучших советских скрипачей в поездах умерли трое: Полякин, Коган и Вайман; Ойстрах и тут не вписался в их компанию.

... А еще захиревшему — точнее, немножко себя отсидевшему — скрипичному Ленинграду была сделана одесская прививка (хотя в принципе Одесса обручена с Москвой), но одеситам скоро понравилось держать себя ленинградским барам, и одесско-ленинградский гибрид — заявивший о себе в лице Михаила Ваймана — нарочито выставлял напоказ свою фальшивую петербургскую вальяжность.

Когда я впервые попал к Сигал (в класс с беломраморной дощечкой: "Класс им. Л. Ауэра"— проведенный через двойные двери, между которыми легко умещался лазутчик), то в Ленинграде скрипачи сами играли и других учили — так же, примерно, как это делают и повсюду в мире (там, где это вообще делают); приготовишка, школьник, студент, аспирант прежде знает на слух, что должно быть; затем он получает более или

менее *ограниченный* набор рецептов: как этого достигнуть. Сумма рецептов составляет школу, школы разные — рецепты прямо противоположные, порой, заведомо никуда не годятся. Но сам принцип обучения для всех школ, включая и петербургскую, ауэровскую, "русскую" — общий: услышать — воспроизвести. Результат — в обратной зависимости от разницы. Рецепты, то есть технические приемы, эту разницу созданы сглаживать, но, в смысле действенности, они — *ограничены* (повторно выделяю это слово). Внутри приема есть место для индивидуального маневрирования. Любой школой, наряду с усердием, в расчет берется "интуиция мышц", способность добирать недостающие ощущения инстинктивно.

Слово произнесено: способность. Я сам написал, что люди в массе скорее музыкально-исполнительски одарены, чем наоборот. Но сколько бы ни было этих людей, способных овладеть игрой на инструменте, всегда одни способней других, а некоторые способны как никто. Такого рода одаренность означает лучшую физическую приспособленность — так сказать, тела к душе — к выполнению воспринятой на слух задачи*. Но это одаренность первого, что ли этажа, есть и одаренность второго этажа. Исполнитель — не только звучащее тело, он тоже слушатель, часть собственной публики, и лишь, в отличие от последней, его музыкальное переживание имеет музыкальное выражение. Интерпретация: субъективное переживание как "объективная реальность". Но, чтобы оно действительно стало таковой, интерпретаторам нужно обладать, помимо талантов, общих с эквилибристами, чувствительностью к исполняемому произведению в ее как бы отраженном, внешнем виде. Переживание собственное должно быть исполнителем не просто явлено — это произойдет даже поневоле, это атрибут исполнения — оно должно быть *льстивым* зеркалом по отношению к слушательским эмоциям. Купившись, слушатель начинает сопереживать также и исполнителю; подключенный к восприятию куда более совершенному, чем его собственное, слушатель вслед за вергилием-исполнителем способен проследовать всеми кругами, всеми небесами — так они оба полагают, имея тому множество чудесных подтверждений: музыкальных прозрений.

Значит так, душа слушателя любит себя в зеркаль-

* При всей доступности изложения я все же обращаюсь к читателю, понимающему: речь не об игре по слуху.

це исполнительства, а то льстит ей ее многократно улучшенным подобием — "одаренность второго этажа". Степенью этой одаренности, измеряемой "волосками", и обусловлено "кто есть кто" в мировом исполнительском искусстве*. (Само-то оно вряд ли примет даже этот, еще только предварительный ход моей мысли). Приостановим теоретическую часть и вернемся к описательной.

Ленинградская манера играть на скрипке питалась зазнайством города, провинциальным романтизмом, опять же провинциальной ностальгией, смешавшей в одно и дореволюционное прошлое, и заграничное настоящее,

По-моему, нечто подобное долго происходило с модой, с модниками в бывших лимитрофах — вплоть до конца шестидесятых годов, когда поток израильских посылок покончил с летаргией вкусов у коренных прибалтийцев (тому Западу, что проникал к ним через посредство Москвы, они не верили, собственные же "кандские" связи, видимо, были жидковаты).

а с другой стороны атомы Одессы, атомы Москвы залетали и в ленинградскую атмосферу, особенно, когда первый состав филармонии и Кировский театр (дававшие ленинградскую прописку) получили заветные ставки (оклад от двух до пяти тысяч).

Теперь обратимся к Москве: Москва, победоносно прижавшая подбородком скрипку — это Наполеону бы рассказать! Московская или советская скрипичная школа — как и все советское. А советское не похоже ни на что. — Если Филатов может научить медведя ездить на велосипеде, то уж я могу любого осла научить на скрипке, — якобы сказал профессор Цейтлин — во всяком случае, имел полное на то право. Вопрос "зачем?" навряд ли кому пришел в голову. Это звучало в духе времени, уже уходящего: "Кухарка будет управлять государством", "Незаменимых нет" — времени, к которому принадлежал и сам Цейтлин (1881 — 1952). Не кто иной как Цейтлин основал в 22 г. "Персимфанс" (Первый симфонический ансамбль им. Моссовета — оркестр без дирижера). Воздух двадцатых годов был пропитан идеями "регуляции природы": как поставим все на научную основу, да как начнем массовое производство — всего, чего захочешь: и поэтов, и артистов, и ученых... Талант

* Как говорил мой доморощенный парадоксалист Сергеев — своим "неинтеллигентным" говорком: "Ну, смотри, смотри... между простой скрипкой и Амати, да? Разницы-то с гулькин нос... А за эту тютельку-то сто тысяч платят".

— идеалистический предрассудок, бытие определяет сознание, значит теперь, после революции, все одинаково талантливы. В чем-то "чевенгур" этот прикрыли быстро, в чем-то дали ход (естествознание? история-философия? Я этих вещей не знаю и не чувствую — быть может, через столетие выяснится, что рожь и впрямь способна порождать пшеницу). На уровне ремесел, однако, такой "научный подход" бы удался — "бы", поскольку революция упразднила таланты, а не амбиции, чьим обладателям хотелось опробовать себя, разумеется, в чем-нибудь наивысшем по жанру, например... в игре на музыкальных инструментах (это благородное занятие все еще по романтической традиции отождествляется с созданием музыки, хотя уже пойдет скоро третий век, как выделилось в самостоятельное ремесло, в ремеслах же, независимо от того, почитают они себя высочайшим искусством или нет, совокупность навыков дает результат; очень по-марксистски и очень по-научному: материя порождает идею).

В этом смысле формализм, поклоняющийся приему, видящий в искусстве совокупность приемов, явление чисто марксистское. Разгром формализма (шкловско-тыняновской складки) — хороший козырь в руках "истинных марксистов".

Итак, не потребность звучания (музыкальное сознание) первично по отношению к мышце — наставляемой и контролируемой на слух — но правильность мышечного рефлекса творит правильное звучание, превращая слух в этакую сторожиху при интонации.

Кузнецов, многолетний ассистент Цейтлина, утверждал, что интонация (точно выверенная звуковысотность) в принципе тоже функция постановки рук (а не слуха — а Бетховен еще разбивал клавиатуры, чтобы что-то пробилось в его евстахиеву трубу). Кузнецов гарантировал истребление фальшивых нот тому, кто неукомпетентно будет следовать его скрипичной физиотерапии — впрочем, это уже было из области "светлого будущего": глухонемые скрипачи и чистенько играют.

И, между прочим, интонация советских скрипачей сравнительно засорена, учитывая общий их технический уровень; также и привычная их "немузыкальность" — у середняковходящая до гротеска — объясняется тем, что, играя, они себя не слушают, а *ощущают*. (Забавно сопоставить мимику советских и западных виртуозов. На лице советского музыканта в момент исполнения по преимуществу "маска гнева": осознание се-

бя приходит через мышечную деятельность — атлета, воина, обезглавливающего гидру и не забывающего прижечь, где надо — нередко гнев дополняет гримаса отвращения; понаблюдайте сами. Наоборот, западный исполнитель каждую секунду в блаженном изумлении: "Господи, какое утро!" Вглядитесь в лицо Стерна или Перельмана: "О, нет... О, этого не может быть... О-о... это слишком прекрасно для меня, бедного смертного..."). Московская консерватория, ее скрипичная кафедра, с профессиональным энтузиазмом восприняла идею массовости и равных возможностей. И в стахановские сроки подыскала гениальное решение — положившее основание новой скрипичной школе: не прописывать рецепты в виде пальцеломких упражнений при общих советах механического типа: палец вывернуть туда, локоть вывернуть сюда.

Слово "вывернуть" в устах чистопородного московского учителя совершенно не могу себе представить. "Вывернуть, прижать, отставить" — это Петербург и далее назад — на запад. Москва изъясняется в иных терминах: подвесить, отпустить. Характерно, что один из ленинградских учителей замечает — на мои вздохи, что, дескать, трудно, устал: "А ты что хочешь, на скрипке вообще трудно играть, скрипач только и делает, что в противоестественном положении находится". Сравните с Москвой: "Все (в игре на скрипке) должно быть удобно... естественно... от игры надо получать физическое удовольствие..."

Зачем ученику в муках рожать неведомое ощущение и, глядишь еще, не то родит — ибо в ходе тренировки мышц ощущения выработывались "с известной свободой", как уже писалось, "индивидуального маневрирования" и потому с известной разницей в успехах — зачем это все, когда эту фазу, в которой учащийся опасно предоставлен своей индивидуальности (да Господу Богу) можно миновать, если передавать ощущения в *уже готовом виде*. Воистину инженерами человеческих мышц показали себя звезды московской скрипичной школы, создавая — и неустанно пополняя — картину ощущений среднеарифметического скрипача-солиста; а в умении поделить непосредственно ощущением с учеником видели они свою главную цель. Однако было бы недобросовестно, продолжая о "Москве и москвичах", не коснуться генеалогии этого среднеарифметического манекена с содранной кожей и скрипкой. Одесса, цыганский табор, Черноморье — там плодились те полунищие клезмеры, от сходства с которыми меня предостерегала Сигал, а ее самое Ауэр — раз предостерег. Клезмеры удобно сворачивались вокруг своих

"стареньких скрипок", не утруждая себя прусской выправкой своих петербургских коллег, и жмарили ("навечивали") того же Шуберта — "Серенаду" или "Баркароллу" — рапсодию Листа, а то играли почтенной публике что-нибудь из Моцарта или "Амурские волны". Их первоначальной средой обитания были свадьбы, но вскоре они заполнили собою ямы музыкальных театриков, а с появлением немого кино и совсем открылась золотая жила.

С концом "великого немого", однако, множество людей с футлярами под мышкой оказалось не у дел — во всем мире. Но в молодом Советском Союзе как раз только отменили безработицу, вследствие чего музыкантам отныне запрещалось халтурить — в первоначальном значении этого слова: *halt die Tür* — держи дверь, т.е. побираться, играя во дворах. Так сохранились за кинотеатрами оркестрики — как сохранилось обыкновение слева под экраном, давным-давно широкоформатным и бондарчухраистым, ставить пианино для тапера (небось, согласно отношению еще времен какого-нибудь лунапаркового наркома в пенсне).

Одесская скрипичная песочница — впоследствии "школа имени мине" — похожа на разыгрываемый на рыночной площади фарс — параллельно чопорной консерваторско-петербургской постановке, хотя участники обоих представлений — менажем-мендлы в одинаковой степени. Обучение на скрипке шло в Одессе вповалку, друг у дружки — настоящее скрипичное Гуляй-Поле. Каждый младенец приспособивался к инструменту как мог, не стесняемый требованиями петербургского артикула (будучи типичным клезмером, Столярский никогда бы и не понял этого кодекса скрипичной чести: "Играй, Мончик, хоть носом"). Но слуховые представления, тем не менее, в Одессе господствовали уже, так сказать, капиталистические — а не феодально-помещичьей свадьбы. В успехе школы Столярского лишнее подтверждение тому, что количество может перейти в качество в рамках мастерства (от слова "мастеровой") и что ремесленнику, например, диамат отнюдь не противопоказан.

Одесская скрипичная песочница ничего общего не имеет с "системой" Сузуки, который занят инсценировкой повального вундеркинства, заведомо имитируя его. Конечно, шоу занимался и Столярский, но у него, как и у всякого порядочного педагога, шоу носило служебный характер — в конце концов, оно работало на его маленьких участников, а не наоборот. Жуткое впечатление производят эти игрушечные японские человечки, так халтурно, буквально из жести, отштампованные, что едва не в кулачках сжимают свои смычочки. Незавидным представляется их будущее,

скрипичное и человеческое — уже в настоящем единственное живое в них это лужицы, которые они оставляют по себе на эстраде. (Господи, кое-кто из взрослых этому еще умиляется!) Японцы со скрипками — тема особая и интересная (точнее, японки: петь, танцевать, играть на самисене, а теперь на скрипке — женская доля). В каждом западном оркестре вы найдете несколько японок — смешных, жалких и неистовых скрипичных фурий — соперничающих (исключительно между собой) за профессиональное первенство, различимое лишь через лупу. На их примере вдруг начинаешь думать, что пророчество Соловьева еще не исчерпано. А с другой стороны понимаешь: нет, ограниченность желаний, узость взгляда, щелка глаз — за этим триединством кроется какой-то общий порок, спасительный для христианского мира. (Ось земную, во всяком случае, они не сосут.) Что всегда мне было интересно — вообразить эту спазму, именуемую японским скрипачом, в Москве. Но единицы, которые добредали до Москвы, шли опрочметчиво к Когану, хотя уж он-то им был совершенно противопоказан. Смешно, японки и Коган (с его костяной ногой вместо указательного пальца — на смычке, с его “панлоктевой” вибрацией, с его язвой желудка). Но японки этого не понимали, оглушенные его славой — все эти мизки, рэйки, кэйки, еки; впрочем, здесь и я одной вещи не понимаю: заграничной славы Когана — если только она действительно так уж была велика. Внутри Советского Союза его тогдашний взлет был оправдан. В какой-то момент, на стыке пятидесятых и шестидесятых годов Коган превосходил популярностью Ойстраха — то бишь персонифицированную советскую скрипичную школу. Здесь все ясно. Гастроли негритянской оперы, американская выставка в Москве, журналы “Америка” в советских квартирах, фильм “Рапсодия” — это то, что запомнилось мне. Коган, игравший в романтической западной манере — “хейфецовской”, казался продолжением всего этого “рио-де-жанейро”, казался ярким анти-соцреалистом — рядом с белым кителем скрипичного генералиссимуса Ойстраха. (Те же, приблизительно, ощущения вызывала у меня — в мои 10-12 лет — Галина Вишневская, которая как день от ночи отличалась от народных тумб Советского Союза: красивая, худая, современная, в голосе оголенный нерв. Это теперь, при виде рекламного объявления “Галины” — ... неизбежные образы Татьяны, Иоланты... всех не счесть — мне, знающему репертуарность и мобильность западных певиц, так и хочется воскликнуть: — Официант — ириску!..). Но был здесь и свой парадокс: Коган, лицом немножко Мэл Феррер — но сутулый, ядовитый, затравленный самим собой — служил Родине на разных поприщах, об этом твердят все; тогда как Ойстрах, мало сказать, не дал повода ни к каким слухам — вообще ничем не запятнал своего имени. А ведь принадлежал к тем, на чью смерть замыкается эпоха — понимая, что это была за эпоха, восхищаясь им вдвойне.

По-видимому, заслуга Одессы в рассуждении Москвы — помимо того, что эшелоны скрипачей двинулись на помощь столице, только еще планировавшей их собственное серийное производство — в том, что в Одессе состригли косичку петербургскому оловянному солдатику. И хотя, взамен этого, новой удобной униформы так и не создали, наиболее успешные

из одесситов легли, с позволения сказать, в основу идеального московского скрипача — который на их примере был вычислен, разложен по полочкам, оприходован до миллиметра, подвешен за рефлексы. А все во имя благородной цели: дать каждому трудящемуся в руки по скрипке, и чтоб заиграли. Причем это вовсе не означает идеологического единомыслия с большевиками двадцатых годов, это чистой воды миссионерство, только в политически благоприятных условиях. Что-то вроде обращения в скрипичную веру. И не вообще, а как они, в Москве, ее исповедуют. Один из хранителей цейтлиновской методы, Кузнецов († 1966 г.), настаивал на ее исключительности так, как если бы действительно речь шла о религиозном догмате. Он совершенно не считался с тем, что его учение, хоть и единственно верное, а все же лишь средство обретения скрипичного блаженства (но еще не само блаженство — подмена обычная для блюстителей идейной чистоты). То есть ежели кто сумел достигнуть сияющих вершин мастерства, идя своим, неправильным путем — скажем даже, вопреки этому пути, за счет каких-то иных, врожденных своих качеств — Кузнецов без колебаний готов был вернуть еретика на землю и заняться его переручиванием. При этом прибегнул бы вот к какой логике, верней, вот к какому самооправданию (схоластическому, как тринадцатый век) — привожу в контексте моего "каверзного" вопроса: — Борис Евгеньевич, а Хейфецу тоже стали бы руки переставлять и посадили бы на пустые струны? — Кузнецов первым делом поправляет меня: — Открытые (пустые — пренебрежительно, а у нас, как известно, "нет маленьких ролей"). Если он с зажатыми руками сумел стать Хейфецом, — продолжает Кузнецов, и чувствуется, это имя ему неприятно — любое другое... — то как бы он заиграл, если его правильно научить. — Объяснение в пользу бедных, даже и не фигурально выражаясь, коль скоро считать за бедных обделенные талантом массы учащихся. Москва во имя "равных возможностей" освободила от индивидуального поиска на уровне "первого этажа исполнительской одаренности", другими словами, отменяла этот вид одаренности, не понимая, что талант неделим; что приспособление "тела к душе" — это не чистая физиология, которую можно всю, по Павлову, расщепить и высчитать; что натягивание мышц — индивидуальное — неотрывно от интерпретаторской харизмы "великих", которых не приведешь к общему

знаменателю хоть бы и в простейших приемах: все в них решительно, от крыши до фундамента — едино в своей неповторимости, даже явный промах, и тот грозит стать модой.

Но Москва этого не понимала: як так! Материально-техническая база — фактор ведь объективный. Как законы природы. Следовательно, она для всех общая. В итоге, что прежде стоило таланта, ныне дается даром. Вроде бы за что и боролись: более талант не будет уходить на черную работу, "освобожденный труд": высвободится столько дарований — в ком они есть — для высших целей (по Кузнецову). На самом деле от подобного прогресса в выигрыше только посредственность. Уж про нее не скажешь: она свое получает. Чужое. Зато талант лишается своей уникальности, без которой уже никогда не будет тем, чем был прежде. Убита легенда исполнительства, на место ее пришло взаимное сближение уровней, что-то вроде конвергенции неба и земли: одаренность стала побездарней, бездарность поодаренней. Нынешний оркестрант не только двигает пальцами в тутти, но даже может позволить себе разыгрываться не под сурдинку — тогда как во времена Чайковского его собрат скользил по грифу одним пальцем (сто бед — один ответ) и, где мог, хватал пустую струну, служившую ему "островком безопасности"; об этом свидетельствуют многочисленные аппликатуры в нотах, оставшиеся от них — писанные навечно: жирно, красным или синим карандашом.

Хочу сказать, что оркестровые партии со штампом Павловского вокзала, или библиотеки гр. Шереметева, или Королевского театра в Ганновере (следствие моего "бегства в Египет") свидетельствуют не только об эволюции оркестровой игры за минувшие сто с лишком лет — самые старые ноты, по которым мне и теперь приходится играть, это партии ранних опер Верди, сразу же по написании изданных издательством "Рикорди". Ковыряться в них мало радости: тональности в начале строки не даны, а только при смене, для расшифровки пауз требуется Набоков, потому что это не паузы, а самые настоящие бабочки, и т.д. Зато бумага — как папирус. И в этих, и в позднейших нотах музыканты оставляли свои автографы, обычно с числом. Перед нами образчики юмора скрипичных лабухов предыдущих поколений: некто Чернышенко из ленинградской филармонии завершил концертный сезон 1936/37 гг. такой записью: "Штрих лизато ... и пахучий. Но нельзя же до упаду, надо отдохнуть и заду" (вряд ли подразумевалась политическая ситуация, а не какой-нибудь местный холуй). Десятилетием раньше, сидя в брауншвейгской оперной яме — между прочим, год назад брауншвейгский оркестр отмечал четырехсотпятидесятилетие — немецкий остроумец комментирует внешность певицы: заменяет в слове "Kurfürstin" первую букву "r" буквой "h" и с ту-

поватой дотошностью уточняет в скобках: фрау Беккер. А кто-то перечислил, что ждет его сегодня после концерта на ужин (уже не помню что, но что-то вкусное, запись мечтательная), сегодня — это двадцатые числа декабря 1915 года, написано на совсем новеньких нотах “Прометей” Скрябина. “Годами мрачной реакции” (1908) помечены строчки из надсоновского стихотворения — сим анонимный либерал передавал, как томится его душа в рудниках, именуемых оркестром Императорского Мариинского театра, куда тело играет “Жизнь за царя”. А то попадаетея одинокая могила: путник, стой! В этом месте берлиозовского Те Деум скончался дирижер X (давно читал уже, не помню имени). Специфический интерес — “потомка врага” — у меня вызывают такие надписи, как: “15.10.39 — das Britische Schlachtschiff “Royal Oak” wurde durch unser U-Boot U-47 versenkt” (гладковывбритая благонамеренность, плотный завтрак под бравурное радио, хороший стул, затем в театр). И в тех же самых нотах (“Мадама Батерфляй”, ее в 41 г. ставил в Ганновере японец Конойе, о чем меня тоже извещают) какой-то циник переправляет — 27.VII.43 — “tutto e finito!” на “тутто финито, Бенито капутто”. Не знаю, было ли это рискованно, но вот пример явного безрассудства по тем временам, хотя бы работа гестапо и строилась на иных принципах, нежели НКВД — когда Иоханан в “Саломее” пророчествует: “Es kommt ein Tag, da wird die Sonne finster werden wie ein schwarzes Tuch” — написать сверху: 30 января 1933 года. Даже теперь, при добром Эхнатоне — вдохновляемом своею Нефертитей — никто бы не мог безнаказанно поставить против этих слов дату: 25 октября 1917 года.

Аппарат современных же скрипачей (равного им положения) вызвал бы в них, помимо зависти, еще и удивление: при нас такие в оркестры не садились. Ребенком я приставал ко взрослым — к тем, кто недавно стали взрослыми — с вопросом: где и в какое историческое время они бы хотели жить? Все — предположительно мне в угоду — называли Францию “Трех мушкетеров” (на меня все равно угодить не удавалось, тогда мое сердце принадлежало афинской республике). Но один студент, работавший в оперетке и подрабатывавший концертмейстерством в музыкальной школе, удивил меня, сказав: “В Петербурге, лет девяносто назад”. Петербург кисти передвижников, каким мне он моментально представился, был ужасно унылым местом — разве что студент этот был известный шутник, любимой его шуткой было обвести мутным взглядом стены класса и изречь — заплетающимся языком: “Как в мире много интересного, кроме водки”. Впрочем, он удосужился пояснить мне свою мысль: “Тогда я был бы здесь лучшим валторнистом”. Я его тем не менее не одобрил: использовать такую фантастическую возможность, лишь только чтобы стать первым валторнистом в городе, где плавают перовские утошпенницы?..

Итак, мы знаем: по стране и за рубежом исполнительское мастерство выросло невероятно. А если еще сравнить с 1913 годом, наряду с выработкой киловатт-часов и выплавкой стали, то выражаться это может вообще в цифрах астрономических и гомерических. Но так же и касаясь неординарных явлений, а именно: интерпретаторов-виртуозов, следует признать, что количество дьяволов со скрипками тоже увеличилось — только хвосты все стали покороче. Последнее постараюсь не дать сейчас оспорить. В самом деле, есть известный соблазн — услышать в этом старушечий припев "вот в старину...", ставший уже — после всего, что нынешнее поколение стариков и старух хлебнуло — лишь достоянием литературных штампов. "Эх, какие силачи выступали в цирке перед войной — куда вашим чемпионам", поглаживает фальшивые усы артист Филиппов. "А какие были фильмы, дед, помнишь?" — вторит ему актриса Пельтцер. "Помню Эрденко, скрипача..." — доносится из соседнего купе. Предположим, дать несколько примеров на чью-то банальность а la "в старые добрые времена", еще не значит полностью отмежеваться от нее самому. Однако в распоряжении оппонента парой-тройкой примеров уже будет меньше. Серьезней было бы сослаться на психологическую зависимость *оценки от количества*: Паганини был на земле один, Хейфецов — скажем, пять (Крейслер, Тибо, Губерман, еще кто-нибудь), Перельманов уже пятьдесят. Но Перельман сам по себе, и Паганини сам по себе — была бы такая уж разница между ними, т.е. быть-то была бы, но в чью пользу? Жюри же установим смешанное, Ауэра председателем, заседателями Шумана и Бернштейна.

— А что бы мы сказали, услышав живого Паганини сегодня? — такой вопрос, хотя тоже по-своему относился к машине времени, мог быть воспринят скрипичными взрослыми даже и всерьез — если б не содержал маленькую хитрость. Надо сказать, Паганини был не просто знаменитый скрипач прошлого, а главный скрипичный гений на земле. Иначе говоря, он был скрипичным Лениным — тут в простом советском скрипаче просыпался простой советский язычник с его сонмами отраслевых гениев. Хотеть своим современным ухом воспринять звук полуторавековой давности было внутривидовым вариантом другого, чисто пионерского радения: ах, если б был жив Ленин, что бы он сказал? Этот ленинский оргазм несбыточен, ибо целомудрен и целомудрен, ибо несбыточен, но ведь

хотеть-то не грех — воображать, как он является тебе, к тебе в квартиру, предварительно нажав на звонок трижды. (Кажется, к нам было три звонка — и открыть дверь на большее или меньшее их число с нашей стороны было бы *очень мило*.) Возможно, я и несколько преувеличиваю, но, например, вопрос, как в действительности играл на скрипке свои "Дьявольские трели" Тартини — отделенный от нас не полутора, а двумя с половиною веками — не имел же того психологического подтекста, не ступалось же по нему, как по тонкому ледку.

Я вновь ухожу в мое скрипичное детство — в мое скрипичное, так причудливо переплетающееся с советским, подсознание. Представьте себе, что между ребенком, крошечным, пяти-шести лет, и внешним миром стоит ремесло — его уже отдали в ученье, и узнавание мира у него происходит в теснейшей связи (а не только параллельно) с приобретением профессиональных навыков. Этапы жизни измеряются освоенными приемами. Переходы "через проходящую ноту" в шесть с половиной лет или "глазуновский штрих" в восемь — это так же и явления, наряду с домами и автобусами, образующие — скажем — город, в котором ты растешь. Первый этюд Вольфарта конгениален исполинской тахте, куда ты переведен с недавних пор — с тех пор, как сквозь железные прутья наполеоновской младенческой постельки стала выглядывать пятка. Пока сидишь на Вольфарте (Вэлфер, он же Вольперт) проходит эра в жизни — по меркам взрослых календарей ничтожная. Кайзер, 24 этюда. Отроги позиций становятся круче, тахта становится меньше — новая эра. Из одной лишь физической памяти о первых скрипичных шагах можно сотворить "Комбре", вкус "мадлены" мне заменит ощущение колодки под пальцами — кусочка черного дерева с перламутровым глазком, лоснящегося от влажных прикосновений, доводить до которого пытка, а не доводить — преступление. (Беда этого сочинения в том, что русский читатель Пруста и человек, способный понять, что значит доводить смычок до колодочки, в одном лице не сочетаются. Я же пишу именно в расчете на этот фантастический гибрид. Признаться, мною владеет мысль, что если этого не напишу я, этого не напишет никто. Зато — мой иллюзорный читатель — сочинение, заведомо не рассчитанное на успех и внимание, будет абсолютно честным.) Прием, в процессе отработки, да еще с соответствующим ему нотным узором, обретал невольную пред-

метность: мог быть мысленно увиден или тайно узнан. Всем известные вещи находили добавочное выражение, уже сокровенное, в кирпичиках скрипичной игры. Мир дублировался — но поди, передай это тому, кого не одергивали поминутно: смычок гуляет на грифе... смычок гуляет на грифе...

Помните ли вы печальный конец замечательного музыканта, кифариста Лина... Его убил Геракл — на уроке музыки. История эта достоверна, ученик готов в ярости убить своего учителя. У меня перед глазами картинка: тучный подросток Гриша Жислин, с белой закушенной губой, дико раздувая ноздри, стоит перед приставшим к нему с каким-то местом как банный лист Гинзбургом. Не знаю, видит ли это Гинзбург, но я отлично вижу, что жизнь его сейчас не стоит чашечки чаю, которую он только что налил в крышечку термоса. Возникает, хоть и в шутку, вопрос: а не носило ли рукоприкладство учителей в старину более характер оборонительный — превентивного удара, упреждающего покусение со стороны ученика? Коллизия дерущихся учителя и учащегося приводит мне на память рассказ виолончелиста Загурского о своем учителе, доц. Фишмане. Фишман — седой мужчина с багровой шеей — бил своих учеников, вышвыривал их за дверь с баскетбольной меткостью и вообще вел себя как в романах Диккенса. Особенно от его brutality страдали интернатские, чьи родители были далеко — такого, например, как Загурский, сына видного музыкального деятеля, он не трогал. Зато некто Грибков, здоровый лоб из предпоследнего класса, натерпелся немало за десять лет. На сей раз, когда Фишман занес над ним его же собственный смычок — он пребольно лупил по пальцам, так что ученик потом двух нот не мог сыграть — Грибков сказал находившемуся при этом Загурскому: "З-загура, а н-нука, в-выйди..." — он немножко заикался. "Не уходи, Славик, не уходи!" — в панике закричал Фишман — а к Грибкову сразу: "Что ты, Витя, что ты, дорогой..." и с этого дня, якобы, "Гриба" был избавлен от побоев. (Знал я и другую легенду — что какой-то юный виолончелист крупно сходил по малой нужде в замечательный "Руджиери" своего учителя и что Борис Эммануилович обнаружил это, только открыв футляр перед концертом — он играл где-то этим вечером.)

— и ты видишь этот обсыпанный канифольным снежком гриф и ни-че-го не можешь поделать. Либо: отравлению, давшему себя знать на Красных камнях (Кисловодск, летний сезон Ленинградской филармонии, где играет отец), предшествуют килограммы рисинок-спикатин — все утро разучивалось то ли с папой, то ли с его коллегой и моим репетитором в то лето, Ефимом Григорьевичем Жислиным, "Вечное движение ("перпетуум-мобиле")" отвратительного Риса (1784-1838), которым, мне кажется, я отравился — хотя у него вкус сыра — в результате срам у Красных камней. И т.д.

Проклятие раннего скрипичного детства не в какой-то

особенной физической нагрузке — детям-акробатам или в балете, наверное, приходится потуже, но в отличие от них, начинающий скрипач не видит, и еще долгие годы не увидит, результатов своего труда — а порой, и никогда. Я не говорю о нескольких местных вундеркиндах, я — о массовом ученике, который нередко впоследствии оставляет изначального вундеркинда далеко позади. Но когда еще это будет. Пока что — скрежет зубовый. Это то, что испытывают очумевшие от собственных звуков детишки, проводя по крошечным огненно-рыжим скрипочкам вкривь и вкось черноволосыми смычками. В их глазах выражение полной беспомощности и обреченности. Их жаль до слез. Но есть родители, которым *будущее ребенка дороже настоящего* — так они чувствуют, говорят — и полагают, что поступают в соответствии с этим. Такие родители ни о чем не дадут себя сбить с намеченного пути, представляющегося им сияющей тропой. Они наймут репетитора. Или по бедности сами превратятся в него — тогда в итоге получается семейный скрипичный всеобуч. Они сделают своих детей "людьми" — хотя первоначальный стимул был более романтический. Навалом и потомственных скрипачей: папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосам... Комическим представляется мне в такой семье конфликт поколений. В этом случае царит твердое понимание задачи, при том, что замах может быть различным: от "мировой орбиты" до "своего куска хлеба".

А все-таки изображать себя, шестилетнего, в образе некой пассивной жертвы некоего ритуального забоя — нет, ей-Богу, это было бы упростить ситуацию. Мифами о *молве*, переходящей в *славу* — при условии прилежания и послушания по примеру... (ряд имен) — уже заморочена моя голова. С другой стороны, внутри любой аномалии складывается своя собственная человечность*.

Так, я вижу себя горько плачущим после вступительного экзамена в десятилетку: с ним из моей жизни навсегда уходил концерт Ридинга — долгое время выполнявший роль морковки перед мордой ослика. Этим концертом меня то манили, то пугали, он был моей первой исполнительской грезой. Наконец с трепетом принятый из рук Сигал, он даже выглядел по-взрос-

*Почему даже чудовищная аномалия может стать предметом ностальгии — см. Л. Гиршович "Цвишен ям унд штерн".

лому: три части, тетрадка аккомпанемента — уже игравшие его более продвинутые дети казались едва ли не ровней самой учительнице. Но вот он осилен, ноты накануне экзамена суеверно положены под подушку. Наутро на такси на экзамен — это стало правилом: на ученический концерт или на экзамен быть отвозимым (впоследствии самому ездить) в такси. И вот, отыграв, я стою и оплакиваю моего Ридинга: "Мама, я больше никогда не буду его игра-а-ать..." Другие дети, тоже отыгравшие и потому довольные, смотрят на меня с любопытством — и радуются, полагая, что я плохо сыграл. Большинство из них после этого экзамена отсеется.

Еще профессиональное самосознание набирает силу за счет хронического противостояния толпе. Со своим ветхим циммерманновским фуляром-четвертушкой ты чужой. Социально чуждый — а если еще и национально!.. Кстати, вспоминаются некоторые градации, неразличимые извне: нотная, с тисненой музтрестовской лирой папка на шнурочках в сочетании с музтрестовским же фибровым фуляром, равно стодившимся бы и для автомата, выдавала районную музыкальную школу (ДПШ, Дворец пионеров), эмблемой десятилетки было соединение фуляра, столетней давности и нормальной формы, с набитым учебниками портфелем. В автобусе — в школу и из школы приходится ездить двумя автобусами — на улице, проходя по двору, ты уже привык, как карлик, ловить на себе особые взгляды — тут и русскому ребенку приходится почувствовать, что "каждый человек — еврей" (А.Терц). И, участь игнорировать это "косое" внимание, ты уже невольно начинаешь презирать тех, от кого оно исходит. (Я постоянно на градус преувеличиваю — но только оттого, что фиксирую какие-то неуловимые мелочи.) "... Поправляйся на радость папе и маме", не сдержали своего раздражения две девицы при виде упитанного мальчика, у которого скрипка и портфель в левой руке перевешивали "сахарную трубочку" в правой, самозабвенно поедаемую под редкими хлопьями снега.

По себе знаю, что дети-музыканты, а потом и, естественно, взрослые, годами, десятилетиями помнят руки других музыкантов, с которыми, пускай даже на краткий миг, профессионально пересеклись.

Способность детей помнить чужие руки в каком-то литературном произведении объясняется тем, что глаза ребенка находятся приблизительно на одном уровне с руками взрослого — это объяс-

нение не исключает моего наблюдения. Попутно другое наблюдение, касательно рук скрипача. В методическом идеале они представляются чем-то мясистым, относительно короткопалым и абсолютно безразмерным (руки лавочника). Все верно. Об этом писал еще Ауэр, опровергая распространенный в его время "поэтический взгляд", согласно которому у скрипача тонкие длинные пальцы — "с коготками экстаза". Однако по самому большому счету замечу: если уж обладатель сухой, "паганиниевской" руки достигает корифейских высот, то он превосходит какого-нибудь пухлого "идише папу".

Это сродни заповинанью телефонов по геометрической фигуре, вычерчиваемой кнопочным набором. И как при этом не запоминаются сами цифры, так не запоминаются часто ни имена, ни лица — только способ игры, неотделимый от рук, который мой натренированный взгляд, помимо всякого моего интереса, буквально вырезает в памяти. Надо ли говорить, что у меня перед глазами руки — до мельчайших деталей — всех моих преподавателей; а я по этой части отличился многообразием, не то что некоторые, от первого до последнего класса прозанимавшиеся с одним педагогом. Я вполне мог бы, с видом царя Соломона, похвастаться численностью своего учительского гарема. И это "не считая рабынь и танцовщиц", т.е. репетиторов. С ними попытка зрительных воспоминаний завершилась бы анатомическим головоуяпством: к *тем* рукам приставлялись как бы не те лица, и медведь, как на "Веселых картинках", гулял бы на курьих ножках. Или вовсе на месте лиц были бы зияния. Например, я смутно помню физиономию одного маленького репетитора из "иностранцев", такого Виндзорчика, но мне не забыть припадка его миниатюрных пальчиков, куда он (на одной ноте) доказывал, что владеет своим "нервным стаккато".

От Виндзорчика сохранилось еще одно воспоминание — то не долгое время, что он ко мне ходил, как раз совпало с моим первым и последним дневником. Он то и дело сравнивал "грязную интонацию" с грязными ногами — причем так пристально на меня смотрел, словно подозревал меня в этом смертном грехе. Или это было его навязчивой идеей. Как-то не он пришел ко мне, а я к нему: он жил с женой-певицей и грудным ребенком в таких условиях, что, кажется, я начал понимать его.

Что же до частой смены "фирменных" учителей (иными словами, докторов, репетитор — это процедурная сестра), то здесь была, как говорится, не их вина, а их беда: они умирали. "Развод" имел место только в трех случаях, два из которых по честному объяснялись переездом: от Сергеева — в Москву (шестнадцатилетний подросток, я ни к какому Кузнецову, ни

в какую московскую консерваторию не рвался, а только из дому — со скрипкой к тому времени мне было все ясно), и от Игоря Ойстраха назад в Ленинград, где я незамедлительно сел в оркестр, в котором, с небольшой географической поправкой, так с девятнадцати лет и сижу. (Читатель, что мне, собственно, "со скрипкой ясно", я уже скажу очень скоро. Терпение, через несколько страниц будет мессидж.)

Без надлежащей мотивировки, но вот уж действительно полюбовно — в отличие от Сергеева и, как ни странно, Игоря Ойстраха, хотя, казалось бы, что я ему, царскому сыну — расстались мы с Рябинковым. Мне было семь, Рябинкову — двадцать семь. Его недавнее "вундеркиндство" было так близко, надежды, внушенные им, еще не успели далеко отлететь — я даже помню его сольный вечер в капелле. Да и Гутников еще не успел получить первой премии на "Чайковском", поначалу образцово-показательном.

Не знаю, были ли на самом деле Гутников с Рябинковым в школе тем "близнечным мифом" во плоти, который мне неоднократно приходилось наблюдать с детства; завершалось обычно это "двуединство" страшным разрывом, и в значении личных связей, и в значении общественного положения. Начинают же *они* как два одаренных клопа, нередко под крылом одного учителя, как правило, один считается чуть более одаренным — через двадцать лет они заклятые враги, чаще всего кто-то из них неудачник (опять же чаще тот, кто сперва шел на полноздри впереди), иногда — оба, тогда неинтересно. Как пример из прошлого, на ум приходят имена Хейфеца и Полякина. Но вообще-то на различных уровнях умения и таланта они по единому сценарию разыгрывают свой "психотриллер". Миша Б. и Миша Г.: публичный выстрел "в шутку" из дробовика. Меня при этом не было, все происходило в родной десятилетней столовой — уже первокурсники, только разных консерваторий, друзья повстречались в своей alma mater ("Альма Матер" — каламбур в их стиле), вдруг один из Миш достает из кармана пистолет и стреляет другому в грудь — "Миша покочнулся, побледнел, на белой рубашке выступило кровавое пятно..." Или Кремер и Хиршхорн, уже соперники иного калибра, или мой двоюродный брат Зяма Каплан и Гриша Жислин. По-своему, но очень ярко, близнечный миф дал себя знать, когда в широком интеллигентском представлении инструментальное троеборье (скрипка, рояль, виолончель) ассоциировалось с сиамскими близнецами: Коганом и Ойстрахом, Рихтером и Гилельсом, Шафраном и Рос-троповичем.

Унаследовал меня Рябинков от Сигал — павшей жертвой любви к нему (безо всяких там метафор; уже говорилось: телефонная анонимка с известием о его смерти). Унаследовать меня — удовольствие сомнительное. Тугодум, да еще нерадивый, я действовал

ему на нервы. Вдобавок под его остреньким взглядом, с усмешечкой, улетучивались даже те жалкие крохи сообразительности, которыми я обладал. Без лишних слов нас развели.

Скучно и нецелесообразно здесь перечислять всех, кто меня учил "зарабатывать свой кусок хлеба". Но справедливость, вопреки целесообразности (обычно бывает наоборот), выводит на строке имя Гинзбурга, Григория Исаевича, артиста. Артиста по внешности, по обидам, по старым фотографиям — кто не знает этих карточек: с ногой ретуши, и строгая накрахмаленная меланхолия, перевязанная пикейным белым бантиком — сейчас запоет (если б не скрипичная завитушка в нижнем углу). Или другой снимок, Григорий Исаевич в составе квартета им. Глазунова — Лукашевский, Гинзбург, Рывкин и Могилевский, 40-е гг., в ленинградско-музыкантском сознании — классика. Он жил на какой-то там "Советской". Какходишь в комнату, слева кровать с женой (скрипачкой) в коме простыней. Она не вставала годами — "просто выдумала себе болезнь". В нищете народ недобр, особенно женщины к женщинам: сама болела, а муж умер. Дочка за уроками, чуть младше меня, черненькая, с красивым еврейским личиком. Доцент Гинзбург занимается со мной как будто за буфетом, контрабандой пытаюсь обратить в свою веру — в Ленинграде гонимую, мои родители настойчиво просили его этого не делать — не "переставлять" мне рук; вера была, разумеется, не в Бога, но в некое радикальное скрипичное учение — источник которого я установил уже в Москве. Сам Гинзбург, насколько помню, именами Цейтлина и Ямпольского не потрясал, авторитеты для него существовали, чтоб их ниспровергать. "Если б Полякин не держал руку так, — изображает постановку левой руки по Сигал, по Ауэру — "чтоб копеечку в ладошку не бросили", — он не умер бы таким молодым". Это звучало как "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Гинзбург опустил промежуточный ход мысли, оставив мне два крайних ее звена — в результате я со всеми вместе повторял, что "Григорий Исаевич хороший музыкант, но закидывает с руками, — и прибавлял — совершенным попугаем: — что, впрочем, для альта и годится" (после смерти профессора Рывкина Гинзбург играл в квартете на альте, он также преподавал альт в консерватории*). В молодости

* По традиции альт — инструмент неудачников: "альтист — скрипач с темным прошлым". "Альтисты всегда мудрят и ничего не умеют." (Народная мудрость.)

сти Гинзбург учился у Полякина — правда, кто у него не учился, Сергеев, кажется, тоже и тоже вот вечно своим умом до всего доходил. Если бы Гинзбург, приписав раннюю смерть своего учителя неправильному держанию скрипки, пояснил, что из-за этого техника не была безотказна, отсюда в экстремальных условиях концерта помарки, срывы — на эстраде, где тонко, там и рвется; отсюда безумное волнение, погубившее его сердце... Но Гинзбург уже давно перестал всерьез переубеждать косных и филистеров, они отвергли его благую весть — ну так он их ею теперь намеренно фраппировал, для чего делал нарочито неудобоваримой. Такое сплошь и рядом бывает с самодельными нонконформистами, от беспомощности они "провокативны", безапелляционны и в конце концов сами же страдают. Ничего подобного бы не произошло, будь гинзбурговская метода безупречной. Она бы говорила сама за себя. Но Гинзбург что-то придумывал — хотя и не обладал подходящей для этого интуицией, о чем-то знал понаслышке, походив в класс к Цейтлину, когда тот одно время наезжал в Ленинград с показательными — и уже поэтому совершенно бессмысленными уроками; именно тогда, надевая галоши перед преподавательской раздевалкой, Цейтлин предрек — в связи с недавним триумфом Менухина в Москве (первая гастроль, 1945 г.): "Еще год, два, и он не сможет больше играть" — чем, понятно, вызвал у всех лишь недоумение.

Гинзбург на уроках постоянно исправлял мою речь: нельзя говорить ему "давайте, Григорий Исаевич..." и т.д., нельзя говорить "сцена" применительно к концертному залу — "эстрада". А были дети, говорившие "ихний" и "откудова". В карих в бурую крапинку глазах Гинзбурга заметно повышается уровень страдания и брезгливости (добавим: изможденное узкое лицо, фиорды висков, мелко вьющиеся, с ровной проседью черные волосы, тонкие губы): "Откедова — отседова, да?" Сам он выражался марганцовочно — на языке, в основу которого заложен лексический страх провинциального интеллигента-еврея; и обожал писать — задания, задания... подчеркивая одной чертой, двумя чертами, исписывая страницы своим твердым проволочным почерком чиновника-зануды, уживавшегося в нем с артистом с витрины фотоателье и обидчивым благодетелем.

Григорий Исаевич Гинзбург, у которого я учился два

ды, с годовым перерывом на Либермана, умер совсем молодым человеком — как говорится. Отчего? Вроде б не от того, от чего его лечили — болезнь же только предлог для смерти, потому от некоторых болезней смерть выглядит неубедительной. Смерть Гинзбурга наступила в красные календарные дни: седьмого или восьмого ноября на полу больничной палаты в отсутствие персонала. Почувствовав себя плохо, больной вскочил с кровати, пытаясь сам себе придти на помощь — поэтому в гробу у покойника было разбитое лицо. Почему-то запало в душу сказанное кем-то о его жене и дочери: ну что, они сидят и плачут... Наверное, очень живо представились эти два действительно беспомощные существа, плачущие на фоне краснознаменного веселья. Из больницы Григорий Исаевич успел приписать в школу поздравительную открытку к седьмому ноября (?!), а как-то "бытовик" Сергеев, с чувством превосходства живого перед мертвым, снисходительно сказал мне, что — "ну чего... ученики Григория Исаевича, хм-хм... он что-то такое с ними делал... они, знаешь, в общем, добротный товар..." (В качестве осиротевшего ученика я выстоял достаточно гражданских панихид по разным "именам-отчествам". В сравнении с прожитым ими, глубина моего прошлого была мизерной, но этой разницы *мне* ощутить было не дано — сообщаемы жили только в настоящем. Поэтому мне казалось, что они очень уж быстро отжили свой век. Стоя близко и боясь поднять глаза на белевший краешек носа и лба, я не отдавал себе отчета в том, что общее настоящее с ними — это лишь концевки их жизни, в которые я вмерз как в верхушки айсбергов. Но если душа за гробом это не более чем память о прожитой жизни, то некий образ в ней — толстого мальчика в форме, со съеденным пионерским галстуком — должен был переместиться вниз, куда-то в итог.)

* * *

Читатель уже вправе требовать морали. Что это, воспоминания детства? Его здесь нет. Жалобы откормленного ребенка, которого в 50-е гг. возят по Ленинграду на такси в школу? Стыдно. Мемуары с трудом научившегося играть на скрипке? Сведение каких-то счетов? Эмигранту полагается выводить на чистую воду советскую власть — настала очередь "дутых скрипичных успехов"? Но если успехи эти дутые, какие же тогда не

дутые — западных консерваторий? Да кабы они могли!.. Они мечтают об этих успехах (но только чтоб без социальных предпосылок — о социальных предпосылках они больше не мечтают даже под рубрикой "Телеграммы из-за рубежа"). Значит, когда хорошо играют — плохо, когда плохо играют — тоже плохо. Название кочетовского романа и ответ по рецепту Каддафи?

Я начал с того, что обещал разоблачить ложь, в которую сам деятельно вовлечен. Разоблачитель, грудь колесом... в особенности, когда сам с раскрасневшуюся гору — разоблачение же величиною с мышку. Впрочем, с мышку ли, если их тьматмущая, прихожан в храме искусства, свято убежденных, что храм — это здание, а искусство — это, скажем, два человека в экстазе за двумя роялями на сцене (конечно, хорошо тому, кто помещение церкви отождествляет с церковью). Для культурного европейца музыка — это переживание, осознаваемое с равным благоговением и банкиром и анархистом — который охотней взорвет десять соборов, чем причинит малейшее неудобство артисту, будучи разбойником истинно благородным. По той же причине самоуверенно-свободомыслящий левый "магазин", сбивающий шапки с премьер-министров, как замороженный каменеет перед буржуазнейшим Караяном: большой художник. (Одна из распространенных легенд моей советской юности: "фона" дал Караяну Гитлер, а вообще Караян "простой армянин".) Надо ли говорить, что уважаемые партии "важнейшим из искусств" для себя почитают концерты классической музыки. А расцвет исполнительства под крылом тоталитарной власти позволяет последней выступать в роли музы — и человечество глядит на фашистскую Германию (не все же глядеть на Советский Союз) с ее международными моцартовскими торжествами, и крыть ему нечем — подъем культуры вопреки всему, и этой заслуги у фашистов не отнимешь*.

Вот и получается, пока в Храмах Искусства творит ноктюрны некто с лицом овцы, — впрочем, пребывающей в эмпиреях, — в той же стране, в то же самое время в нищете умирает Бела Барток. Только прошу вас, я борец не за справедливость — за правду. Это не синонимы. Хотя иногда совпадают.

Учась "играть на музыке" ("А вы на какой музыке играете?" — спросили в Смольном у молодого Ваймана когда он

* Я не раз слышал нечто похожее от западных немцев — про культуру в ГДР.

прославил социалистическую родину какой-то ужасно капиталистической премией /второе место на конкурсе королевы Елизаветы/), значит, учась играть на "какой-нибудь музыке", ребенок действительно какую-то музыку играет, а не просто — всухую гонит беглость; изучая вспомогательные дисциплины, разывая музыку как труп, ребенок постоянно какую-то музыку слушает. К тому же его водят на концерты, маленькие пианисты слушают большого пианиста, будущие скрипачи — скрипача настоящего; ребенок мается на красном филармоническом плюше. Вдруг постепенно появляется *красивая музыка* — "вдруг постепенно", это происходит именно так. Годам к восьми я уже пропитался ею (далее я буду говорить о себе), восприятие на уровне "любимых мелодий" сменялось привязанностью к каким-то определенным произведениям, разлука с которыми вызывала своего рода душевный авитаминоз (мне десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет). К счастью моему, это случалось страшно редко, благодаря долгоиграющим пластинкам. Отец покупал все, и я мог крутить их часами — одни и те же — лежа на диване и умирая. Я вижу дарвинскую цепочку моих проигрывателей: "Юбилейный" — коричневый чемоданчик с округлыми боками, раскроешь — много белой пластмассы, снаружи красный глазок, горе мне, когда он не зажигался. Следующий проигрыватель: уже пара чемоданчиков, зеленых, один превращался в динамики, вертевшиеся наподобие радаров. Мне было сказано, что "зеленый" изготовлен на военном заводе в экспериментальном порядке. Эксперимент не удался, довольно скоро у нас появилась продолговатая радиолка: деревянный гробик на лучинах — интересно, что "шкала" в радиоприемнике была самонаводящаяся (новинка), в результате то и дело угождала в самые эпицентры глушилок. Венцом творения, пардон, эволюции стал прозрачный "Сони" со стереонаушниками, папа его приволок — в прямом смысле слова — из Японии. А все же "Юбилейный" мне памятнее всех: то ли служил дольше ("Сони" родители продали через три года — мы эмигрировали), то ли волны музыки в том возрасте обдают горячее; потому, вероятно, я безразличен к новейшим стереоустановкам — по мне только бы не плыл звук и не было бы на пластинке царапины с радиус (то, что происходит внутри меня, то, чего ради я музыку слушаю, со звуками извне соотносится опосредствованно — читатель, я займусь еще этим вплотную, собственно, ради этого и пишу).

... Тогда как концерты в филармонии потребность в красивой музыке удовлетворить не могли и не должны были. Там — поиски "лишнего билетика", азарт аншлага, которым предопределялся успех знаменитого гастролера (на девяносто девять процентов заслуженный, потому что знаменитыми не становятся даром — ни в исполнительстве, ни в спорте: здесь Родос, здесь прыгай!.. Чтобы ажиотажем сопровождался приезд посредственности, на афише под именем исполнителя должно быть набрано, например, в скобочках "Израиль" — и тогда Иври Гитлиса будет провожать тот же шквал аплодисментов, что и Стерна). Я деловито проходил сквозь строй жаждущих билета — развлечение: достать зачем-то из кармана свой, и к тебе, как к маленькому Мессии, уже устремлялась толпа дядек и теток — противный закомплексованный мальчишка... Или наоборот, шустро побирался сам, пользуясь преимуществами возраста. Азарт, одышка, массовое перевооружение ног в гардеробе — с микропорок на шпильки, вспотевший под "пыжиком" лоб — все это поспешно маскировалось одним: готовностью придти в восторг; физическое выражение этого восторга (обвал в горах) удлинялось по мере того, как короче становились пьесы. Причем, между "пердендозы" на эстраде и "фортиссимо" зала непременно какой-нибудь обладатель входного на хоры встревал со своим бычьим "браво", хотя у него, у двухчасового "стояльца", на самом деле вся музыка ушла в ноги.

Я беру за образец так называемые "события в музыкальной жизни города", выступления "звезд", но ведь заурядные концерты профессиональным слушателем — и вообще слушательской "знатью" — не посещались. Ходили на дирижера, на скрипача, на пианиста, ну, на певца. Еще на заграничный оркестр. Или на недавно еще опальное сочинение, или новое, но со скрипом дозволенное. Просто музыку приходила послушать уже своя, "абонементная" публика — профессионалов, включая и будущих, вроде меня, среди нее не ищите: слушание музыки как таковой к "событиям в музыкальной жизни города" не относится. Более того, если выступавший с оркестром лакомый солист (Риччи, Ани Фишер) не выдавал три концерта зараз (Моцарт, Мендельсон, Брамс), то после первого отделения с концерта — уходилось.

В живом исполнении музыку — а не исполнителя — слу-

шал я на летних сезонах в Кисловодске. (Не считая более позднего времени, когда в юношеском шатании по темному Ленинграду мог забрести, уже безбилетно, пользуясь своим новым статусом "филармониста", в Большой зал и там в глубине полупустых хоров посидеть на красном диванчике, в благороднейшей обстановке внимая то звукам, то — отвлекаясь мечтами, а через полчаса вынырнуть снова на слякотный Невский...) В музыкальных раковинах Кисловодска восприятие музыки было горячим, активным — я имею в виду мое восприятие, с "голодухи": от пластинок меня отделяло три тысячи километров, концерты в "раковинах" были их суррогатом; по утрам еще я уходил на репетиции, наскучив зрелищем замерших в колоннаде кавказцев (мне — четырнадцать, в то лето газеты знали две темы: с Америкой согласован запрет на все атомные испытания, кроме подземных, и ира/н?к?/ские гонения на курдов). Преимущество домашнего слушания — помимо удобного дивана и сознания, что в своем экстазе ты — "невидим и свободен", и наоборот, чужого сопения тоже не придется сносить — в том еще заключалось, что дома шел сплошной концерт по заявкам, т.е. преимущество, конечно, приятное, но, как и все приятное, опасное: чреватое музыкальной обломовщиной, особенно в четырнадцатилетнем возрасте. Поэтому силком навязанная мне музыка нередко оборачивалась, не побоюсь сказать, вехой в жизни. Другое дело, раньше или позже, от этих вех, когда они звались "Фантастик", предположим, все равно было некуда деться, но ведь в абсолютно неизбежном празднуется что — наиболее случайное: дата, момент свершения. Мне в "Фантастической симфонии" сумел передать замысел композитора один английский негр, якобы, попавшийся где-то на глаза Фурцевой и приглашенный ею дирижировать исключительно в пику британским колонизаторам. Я запомнил имя этого гениального интерпретатора: Думбар — не слышали? — сделавший так, что немедленно по возвращении в Ленинград я заиграл супрафоновскую пластинку с Цекки до состояния всеобщего оупения — и моего, и патефонной иглы, и кота, и двора (видимо, полугодием раньше Маркевич не донес до меня этой симфонии — а вот до других донес). Между прочим, еще о Думбаре: оказавшись нос к носу со всемирно знаменитым оркестром, бедняга на репетициях заискивал ужасно, как это только умеет дирижер, Христа ради подпущенный к дирижерскому пульту —

человек не понимал, что он "не в Чикаго", а наоборот, "из Чикаго", и, верно, вынес из своих гастролей благодарную память "о русских музыкантах, таких скромных, а ведь таких замечательных" (при других обстоятельствах они б ему показали, эта банда расистов). Другим приобретением того лета был Шостакович, тут донес уж Мравинский. Причем все произошло на повторном концерте в Эссентуках — на концерте в Кисловодске я еще оставался вполне фригиден; но в Эссентуках политический пафос этой музыки уже настолько отвечал сумчатому ужасу инородца на празднике "Счастлиное детство" (чувство, с которым мне было ни на миг не расстаться в той стране), что потрясенный, я решил написать об этом композитору — было бы весело, если б я написал-таки, а получателем оказался не Дмитрий Дмитриевич, а какой-нибудь его куратор с Лубянки.

Признаться, в отрочестве я хорошо выстрадал окружающее "через Шостаковича" — идентифицировал себя с его музыкой (позднее с малеровской, по той же причине). Вплоть до того, что мое еврейское "самоненавистничество" порой переносится на него. Ниже позволю себе привести выдержки из записей, сделанных мной как раз в объяснение этой странности. "Творчество Шостаковича... /мне/ представляется тесно переплетенным с судьбами советского еврейства, этой козырной карты коммунистической пропаганды в период между революцией и сорок первым годом — кстати, немало способствовавшей ослеплению либерального Запада во всем, что касалось СССР. У левых интеллектуалов вообще имелось в то время достаточно причин учреждать моду на юдофильство... (Далее о нацистской Германии, непосредственно угрожавшей их личной безопасности.) В самом СССР еврейская карта тоже была разыграна: во-первых, тему погромов, черной сотни, черты оседлости можно было эксплуатировать в хвост и в гриву, тогда как прочие грехи царизма на советском фоне померкли: во-вторых, как и на Западе, в России предреволюционной поры осуждение антисемитизма свидетельствовало принадлежность к передовым слоям общества, являлось неотъемлемой частью идейной униформы. Инерцию этого, своего рода морального снобизма, новому режиму не так-то просто было бы преодолеть даже при желании. /.../ Роковым образом еврейская эмансипация совпала с формированием новой — советской нации, что повлекло за собой психологически их отождествление. Не вдаваясь в подробности того, как отразилось это на характере всей советской это на характере всей советской культуры, остановлюсь лишь на одной ее частности, которая, по справедливости, стоит целого: Дмитрий Шостакович. Известное, чтоб не сказать, повытершееся, изречение гласит: музыка — душа народа. Шостакович сам, один, вдохнул душу в этого гомункула, в это одновременно несчастнейшее и омерзительное создание коммунистической революции — советскую нацию. *Шостаковичу принадлежит музыкальная форма эпохи, но — эпохи, какой сама она себе представлялась. Быть может, потому подлинное понимание его сочинений — при-*

вилегия дышавших одним воздухом с их творцом. Можно, конечно, поспорить о ценности звезд, сияющих лишь на "черном бархате советской ночи" — так пишущий эти строки хорошо помнит мгновенную маску отчужденности на лице обаятельного Н. Набокова (это происходило на вечере в иерусалимском университете) при одном только упоминании имени Шостаковича. Как бы там ни было, "образцовый" период в истории государства советского имеет адекватное выражение в музыке.

Эмиграция третьей волны по своему отношению к Шостаковичу подразделяется на две категории. Люди, далекие от музыки или знакомые с ней в порядке общего развития, — что обычно отделяет еще больше, — видят в Шостаковиче типичного деятеля советского искусства в ряду ему подобных — отягощенного всеми мыслимыми орденами и титулами, неперменного делегата, депутата и, само собой разумеется, подписанта всяческих пасквилей. Его талант, принимаемый на веру, коль скоро признан миром (впрочем, и признан-то, возможно, по принципу равномерного представительства на парнасе всех стран и континентов), его неприятности в прошлом (которые он делил с Ваном Мурадели — у всех были неприятности), наконец, не совсем ортодоксальные тексты, положенные им на музыку (но ведь и Михалков выпускал в 60-е гг. "Фитиль") — все это не может искупить подписи под антисахаровским письмом, да еще в годы, когда мировая слава ограждала его от мало-мальски серьезных последствий в случае отказа "приложить ручку". Другая группа новых эмигрантов, равно как и их единомышленники в Советском Союзе, даже если профессионально не связана с музыкой, то, по крайней мере, обладает глубоким навыком музыкального восприятия. Тут отношение к Шостаковичу совершенно иное. О нем говорится как о человеке необыкновенной души, вечно за кого-то хлопотавшем, не способном по застенчивости никому отказать — чем косвенно объясняется его уступчивость там, где предпочтительней была бы твердость. Шостакович здесь не просто гений, он — любимый гений. В этой любви есть какая-то болезненность, так можно любить то, частью чего являешься сам. Например, погубленную родину. /.../ Сколько лет должно отделять нас от смерти человека, чтобы имя его, при жизни ставшее понятием, могло быть прочитано в любом контексте, в том числе неблагоприятном — прочитано и не сочтено осквернением могилы? /.../ Очевидно, срок давности здесь обратно пропорционален величию затронутого имени."

Показательно, *почему* все же я не стал писать письма Шостаковичу. Музыкальное впечатление глубоко, но не умозрительно, вне своей звуковой стихии не сохраняется — и письмо в момент написания оказывается лишено всякой мотивации. Беллетристика, кино-театр, фигуративная живопись (собственно, другой не получилось), даже религия — все они наделены *фабулой*, которая — суверенна. Живет и дышит — и волнует — сама по себе. "Бедная музыка, умирает при своем рождении..." — смею подозревать, Леонардо имел в виду совсем не то, что мы думаем: эмоциональное воздействие умирает вместе

с нею. Сильнейшее впечатление от музыки подобно волшебной губке (см. Апулея), затыкающей смертоносную рану в горле, а наутро бесследно исчезнувшей, убитый, казалось бы, жив и весел, все было сном, но только стоило ему пригубить воды, "как рана на шее широко открылась, губка внезапно из нее выпадает" — ибо рожденная в море, губка реагирует на воду. Так же само впечатление музыкальное — где оно? Выброшенным на берег из звуковой волны его невозможно ни вспомнить, ни представить. Не иначе, как услышав эту вещь снова, хотя бы внутренним слухом, хотя бы насвистев. Поэтому впечатление от любого концерта — прослушанного в зале или в наушниках — недолговечней по инерции еще напеваемых мотивов — вслух или про себя. Все дальнейшее — воспоминание о пережитом, т.е. литературный жанр.

Массовое явление камерных оркестров, занесенное с Запада, по логике вещей противоречило профессиональному интересу исполнительства. Исполнителю (в романтическом идеале с львиной гривой, на практике — с замашками одессита в Нью-Йорке) восемнадцатый век был Бастилией. (Мне кажется, но я не уверен — тогда же, в начале 60-х, традиционная любовь к органу претерпела качественное изменение: стало важным не как он звучит — как в церкви — а что играет.) Помню, я счел за натяжку и карикатуру, когда миллионер на экране — надменный гурман в элегантно гостинной — говорит Жану Габену, пришедшему забирать свое добро (дочку): "Для меня музыка остановилась в восемнадцатом веке", — и выключает какой-то концертто грессо, не нужный ни кряжистому Жану Габену, ни кряжистому залу; только забыл, билеты стоили четыре рубля или уже 40 коп. Это кино я смотрел со своим кузенком. Кузен был тремя годами старше и пижон, что подкреплялось скрипичными успехами, природной живостью, а также сумкой SAS. Фраза "для меня музыка остановилась в 18 в." обогатила его словарь.

Это, однако, не означало снобистского романа с "музыкай феодалов" — нас и без всякой эстетики, как хлебом насущным, с малолетства потчевали и Вивальди, и Генделем, и Верачини — прибавьте к этому еще дюжину их современников. На втором-третьем месяце обучения в обязательном порядке красненькие скрипочки играют гавот Люлли с таким воодушевлением, что он становится похож на фрейлехс. Нам остава-

лось только обыкновенный ученический репертуар переложить на дорожную посуду и уравнивать в правах (уравнивать — это как минимум) с 19 в.

Вот уж чего, верно, в девятнадцатом веке никак не ждали. Это Стендаль, восхищаясь у маркизы Севинье описанием чувств, производимых в человеке музыкой, недоумевал: но как же эти чувства мог в ней вызвать не Чимароза, нет — какой-то кошмарный Люлли (правда, от Люлли его отделяло больше ста лет — гораздо больше, чем Марину Цветаеву от Бетховена: его Пятая ее "вздымала"). Романтизм заслонил собой музыкальную культуру предшествовавших времен: музыка романтизма по отношению к музыке (в целом) — это теология освобождения по отношению к теологии (ловлю себя на мысли, что несколько хватил, зато читатель сразу все понял). Романтический вкус в музыке, не взирая на отдельные проблески культурной памяти (исполнение Мендельсоном баховских "Страстей", Генделя), отличался варварским непониманием наследия минувшего века — даже не "веков". Варварским, поскольку совершенно искренним, не по идейным соображениям. Чего уж больше, когда Моцарта, почти что, можно сказать, "своего" — там уже сонатное аллегро, как у Кабалевского — упрекали в легковесности: "смесь гениальных идей с общими местами... с дешевой шутливостью... От чувства изящного никогда не отступался... Круг идей был не столь обширен, как у Бетховена". Птичка Божия. Все измерялось Бетховеном, который всех по преимуществу "вздымал". Неожиданная и смехотворная была сделана побрякка для "великого Себастьяна Баха". Дабы как-то оправдать неотсекаемый от имени этого зануды эпитет "великий", Бах был, говоря языком пупуляризаторов, "беллетризован" — в разумных дозах: чакона в фортепианном сопровождении (сегодня роль фортепиано выполнила бы небольшая ударная установка); или та же чакона соло — безо всякой скрипки, на большом черном концертном "Стенвее": Бах-Бузони.

"Бах-Буденный! Первая чаконная!" — так хохмили, как бы объявляя номер. Ср. у Ахматовой: "Хватит мне коченеть от страха, кликну лучше чакону Баха" — тоже словно о Сивке-Бурке разговор. Хотя писалось это уже после того, как гривастая "чаконна" постриглась в чакону и под ней зажгли свечу.

Музыкально-исполнительская психология должна была быть очень травмирована возрождением "старинной музыки".

В музыке размежевание ремесел произошло, как уже говорилось, довольно поздно. Только девятнадцатый век окончательно вывел породу ковбоев на "чаконнах", только требования романтической музыки, романтического звучания, сформировали современную исполнительскую манеру. Когда исполнитель говорит, что его задача — раскрыть замысел композитора, то он даже формально прав лишь применительно к определенной музыкальной эпохе. Утверждать, что доносит до слушателя замысел Страделлы, Генделя, Баха — т.е. озвучивает сделанную ими нотную запись в согласии с их авторскими пожеланиями — исполнительство 19–20 вв. никак не может. Не зря вопрос "как в действительности играл Паганини" сладок, а "как играл Тартини" — горек. Ведь его, этот вопрос, можно поставить с ног на голову, и тогда получится: а вот как мы играем в глазах Паганини? (и предполагаемый ответ нам ужасно льстит: "Правильной дорогой идете, товарищи"). А в глазах Тартини или Вивальди — "рыжего аббата"? И даже Моцарт, "современник" — согласился бы с тем, что Айзек Стерн играет его гедурный концерт божественно? В лучшем случае можно сказать, что о такой игре он даже не мечтал — а, следовательно, мечтал о другой, много худшей, а Стерном осчастливлен непрощенно — как Европа коммунизмом. Музыкальное исполнительство, более полутора столетия претендующее на ключевую роль в музыке, вышло из положения — изобретя задним числом свои какие-то критерии в исполнении "стариков", где привычное романтическое звучание сочеталось со стилизованной строгостью: отказом от радостей жизни в инструментальном понимании, если так можно выразиться. Скоро мнимая старина обросла фальшивыми традициями (раз мнимая — то фальшивыми), без которых уже была немислима. Следование им называется "исполнительской культурой". Стоп. В этом пункте происходит раскол в рядах, дотоле сплоченных — даже не раскол, ситуация скорей напоминает ту, что возникла среди "кинозвезд" с появлением "говорящей фильма". При одном условии: что немые фильмы производились бы по-прежнему, параллельно. В таком случае части "звезд" удалось бы перестроиться и далее блистать уже в звуковом кинематографе, искупая талантом, мастерством, именем некоторую, вероятно, старомодность. Но, разумеется, они не брезговали бы выступать и в прежнем своем амплуа — "говорящих рыбок". Однако остальные поневоле сохра-

нили бы верность себе и своему искусству: только аршинными буквами о них больше бы не писалось на первых полосах газет. А так — когда еще всеми позабытый, на гнилой соломе, испустит двух последний великий голодарь?.. И наконец появились бы новые имена, новые звезды, кому дарование в прошлом на пушечный выстрел не позволяло приблизиться к миру кино — что какое ни есть, а утешение для тех, кого время отодвинуло на второй план.

Это была всего лишь аналогия, притом с фантастической ситуацией. Но в ней намек: где вчера бросались и швырялись и закатывали глаза и только что пена не выступала на губах ("надо сильно чувствовать, чтобы чувствовали другие" — Н. Паганини), там сегодня принят интеллектуальный вид с отклонением в тонкую лирику или в очень сосредоточенный драматизм (с внешними признаками эмоционального запора). С другой стороны почетная отныне роль камерных оркестров, играющих "бранденбургские концерты Брамса", так сказать, позволила многим, далеко не первого разбора солистам, занять видное положение в современной музыкальной культуре. Здесь "сильно чувствовать" было бы всю музыку испортить (редкий случай, когда не знаешь, выражаешься ты фигурально или в прямом смысле слова). И дело не в том, чтобы "сопли на заборе не висели" — как Крейслер с Цимбалистом, двойной Баха давно уже никто не играет. Но любой большой солист будет как слон в посудной лавке — в целой эпохе. И уж всяко не найдет приложения своей харизме там, где исполнитель помельче оказывается на месте: "отказ от инструментальных радостей" подобен отказу от всяких других радостей — легче дается убогим (скажешь "убогим"!.. С тысячей оговорок, конечно). Тем не менее сколько раз удовольствие от какой-нибудь пластинки — обычно чешско-гедезровский импорт: на глянцевом конверте деталь картины, навсегда породнившейся с живущей под нею музыкой — сколько раз, повторяю, удовольствие это сопровождалось мысленно фразой: играет умеренно — хорошо, не мешает слушать музыку. Поздней (разумеется, абсурдная хронология) по миру пустились гастролировать ансамбли на барочных инструментах — "изм", требующий умения держать подбородок справа от струнодержателя (в просторечьи "подгрифка") и еще парочки аналогичных навыков — т.е. отнюдь не связанных с фигурами высшего инструментального пилотажа.

Только и эти "паломники в сторону востока" (читайте у Гессе) — лишь косметические реставраторы: добро б одни лишь свои луки-смычки они держали современным способом, но у них уши по-современному темперированы. Впрочем, они уже с привычным образом исполнителя-харизматика имеют не больше общего, чем землянин с космическим пришельцем-пауком. И я знаю музыкантов, то, что называется, экстра-класса — скрипичных короткохвостых лемуров, которые этих пауков не выносят. Могли б — раздавили... ("Шарлатаны! Ничтожества! Отпустили себе фалды! Да он, ежели нормально, то ни одного звука тебе не издаст, а фасону-то у нахала... Ну, ладно, Танька Гринденко... Но эти..." — и т.п.) И что вы думаете, в одном мой лемур прав: теоретически он в состоянии разучиться играть до уровня "барочного" скрипача. А вот если наоборот: допустим, дьявол — как известно, большой поклонник виртуозной игры на скрипке — сыграл бы злую шутку с каким-нибудь постником, пиликающим свое "барокко" ("евнухом", из тех, что "все знают, но ничего не могут"), посулив ему карьеру концертирующего виртуоза и в первом же концерте — 24 каприса Паганини подряд, которые он сыграет как дьявол. Плата: свой барочный лобзик послать к чертям собачьим — вручается визитная карточка. Св. Антоний с жадностью ее хватает. Все еще нет мессиджа, читатель? Я приступаю.

Как-то раз я сидел у моего кузена, который в это время занимался с моим отцом — играл он соль-минорное адажио, играл по своему обыкновению пронзительно проникновенно и не очень чисто. Обычный талантливый подросток. (Кузен тогда задавал тон в моем воспитании: джаз, найлон, альбомы "по живописи" — его кратковременный флирт со стихами был исключительно данью хорошему тону и даже мной не принимался всерьез. Он набирался всего, я так думаю, у стилижной богемы на Невском, будучи моложе их — ровно несколько был меня старше. Поэтому мне часто кажется, что я себе урвал впечатлений на несколько лишних лет жизни — чем удлинил ее незаконно: не с того края). Я адажио еще не играл, но на слуху была масса знаменитых исполнений. Буквально ну вот только что Менухин в Большом зале сыграл адажио на бис — правда, это уже играл кентавр: верхняя половина смычка по-прежнему менухинская, в нижней половине смычка — ужасно, копыто... Сбылось цейтлиновское предсказание. Но я слышал ту же

сонату у Менухина в записи сразу послевоенной, потом недавно приезжал Шеринг, убивший всех именно своим Бахом, Вайман открывал в Бахе какие-то свои америки. Уже несколько десятилетий, как Бах занимал в скрипичном репертуаре важнейшее место, считался чуть ли не лицом музыканта — я был избалован уровнем. (Да и даже в пору, когда программа состояла — по теперешним меркам — из сплошных "бисов", отдельные части из Баха скрипачами "продавались" в качестве виртуозных пьес: на безумно шипучей пластинке Сарасате играет прелюд из ми-мажорной партиты со скоростью "perpetuum mobile" — допускаю, что записано с концерта, на который, как мы помним, Шерлок Холмс уводит доктора Уотсона в последнем предложении "Собаки Баскервилей".) Таким образом, сольно-скрипичный Бах, в отличие от творений других его современников, был слишком скрипичен, чтобы и здесь приветствовать умеренное качество исполнения. И вот теперь я слушаю моего родственника — и чувствую: *мое восприятие игнорирует разницу между исполнениями* — будь то просто хорошее школярское или самое прославленное в мире. Не то, чтобы это был мой эстетизм — читай, быстрая насыщаемость (наполняемость) неглубокой натуры и, как следствие, извращенность вкусов — дескать, переставил бюст с надписью Bach к мраморам тех, кого хотелось слушать в нейтральной передаче; тут замечу, что легендарное чтение партитур (глазами) альтернативой слушанию никак не считаю, без посредника действительно слушать нельзя, в этом исполнительство право, музыка — не нотная осциллограмма, а реальное биение воздуха в барабанную перепонку; если музыка не зазвучит физически, она не достигнет цели — как сообщение, не полученное адресатом, но расшифрованное археологами. Но я забежал вперед. Способный старшеклассник играет, значит, адажио из первой сонаты Баха, и я ловлю себя на чувстве: мне без разницы, как оно играет — а это другое, нежели предпочитать в известных случаях исполнение "средней руки" (можно и в творительном падеже), бледненькое, нейтральненькое, дабы незамутненнее было наслаждение; "другое", коль скоро оказывается, что предпочтений у меня вообще никаких не имелось, ни в одну из сторон — так, словно источник эмоционального воздействия — сильного воздействия — находится во мне самом, а не в звуках извне, по крайней мере, не в них непосредственно. Случай для

подобного "открытия" сегодня представляется редко: исполнительский "стандарт" высок, никак не ниже слушательских требований — ни на концерте,

В конце концов Думбар "подмахивал" опытному и классному коллективу, игравшему "Фантастическую" Берлиоза сто раз; и уверяю вас, когда "В полях" рожкист на...рет — что может случиться на концерте Маркевича и не случиться на концерте Думбара — общей музыкальной картине этот неприятный казус навредит больше, нежели всякое отсутствие Интерпретаторского Замысла у мистера Думбара, который с грехом пополам давал ауфтакт, после чего начинался легкий аэробик. Но ведь маркевичи всего мира заколдуют меня своими дирижерскими палочками за такое: что значит случайный кикс духовика в сравнении с Исполнительной Концепцией одного из крупнейших дирижеров современности!.. Исполнительство создало свою иерархию ценностей, согласно которой (причем, ни одному из моих коллег это не покажется дичью) "любую музыку можно сыграть плохо, а можно сыграть и хорошо". Ничего удивительного, что Юрий Аронович в году семидесятом дирижировал симфонией Хренникова (т.е. представлял интересы этой симфонии) с таким жаром, словно это симфония Брамса. Я упомянул Ароновича, поскольку вчера дирижировавший Хренниковым, он сегодня печатно призывает и впредь не играть в Израиле Вагнера — на том в частности основании, что Вагнер — большая сволочь. Хренников лучше, да? (Если б еще, как говорится, при прочих равных...)

ни по радио, а тем более в грамзаписях. Благодаря последним, почти отпало домашнее музицирование — вот, где сплошным потоком шло несоответствие между реальным звучанием и заявками внутреннего слуха, основанными на знании данного произведения. (То, что дилетантское исполнительство, как институция, умерло с появлением звукозаписи, показывает, насколько порыв этот, "самому сыграть", вторичен по отношению к слушанию музыки. Профессионалы, утверждающие, что ее исполнение есть творческий акт, в котором они испытывают к тому же острейшую потребность, обманываются. Это акт физиологический — соответствующая и потребность, вроде как у некоторых людей в ежедневном джогинге.) Но все-таки домашнее музицирование "для себя" не истреблено до конца, мне знакома одна его разновидность — когда, обычно, в отрочестве, хватаешь сочинение, которое тебе не по зубам (или при первом прочтении), самозабвенно продираешься через него и — чудо: субъективное переживание совершенно не связано с объективным качеством; в то время, как последнее ничтожно, первое огромно. И в нем, только в нем, смысл музыки.

Смысл музыки... Стравинский эпатирует обывателя (эпа-

тировал — то было без малого шестьдесят лет назад), говоря, что музыка не выражает никаких чувств, ничего — кроме самой себя. Но если бы обыватель, вместо того, чтобы оскорбиться, заменил глагол "выражать" глаголом "пробуждать", у него не стало бы причин для обид: да, чувств музыка не выражает, она их в нем пробуждает — не "радость-грусть-тевтонскую надменность", но единое "чувство", тот очищающий экстаз, на гребне которого творимое обособляется от творца: акт творения — акт экстатический. "Катарсис", говорил Аристотель, "отторжение души от тела". По Аристотелю, эта термоядерная реакция (расщепление человека) была результатом сопереживания — Эдипу, Медее, другим, чем достигался кратковременный суверенитет души (прообраз ее спасения, но на античный лад: из узилища тела; так на земле искусственно достигается состояние невесомости). Музыка христианского запада может, однако, похвастаться еще большим, в христианской цивилизации место музыки вообще — особое, уже потому что все прочие элементы европейской культуры узнаваемы: имеют четкие прототипы в античном мире, от которого, порой, и не ушли никуда; западно же европейская музыка — оригинальный продукт, ее античные корни номинальны и представляют интерес сугубо для антропологии, философии, истории культуры (пусть я неправ!). Но мало сказать, что европейская музыка — самостоятельное создание христианства, в данной — и пока еще наиболее совершенной человеческой цивилизации ей, музыке, принадлежит первостепенная роль. Гегелевская эстетика это объясняет — по крайней мере я так понял — следующим образом: музыка превыше всех искусств, ибо "духовней" их (без цвета, запаха и вкуса, не перескажешь, не пощупаешь), тогда как уже поэзия — раба субстрата, словесной материи; не говоря о чувственных образах, коими оперирует живопись; пластика же, та настолько погрязла в "веществе", что нуждается в трехмерности. Еще хуже с архитектурой, ее задача — укрощение природы, занятие, достойное востока. Повторяю, по-моему, это не я, а Гегель, у которого степени приближенности к духовному измеряются "физическими" показателями ("сокращение вещественности"), что довольно-таки оглушает его Абсолютный дух, хотя и, спору нет, упорядочивает — дело было в Пруссии. (Для меня критерий духовности — в отношении к времени. Вне времени эстетического переживания нет, как нет жизни

вне кислорода. Покуда человек телесен, переживание — это процесс. Определение "пространственный" к искусству неприложимо — только к ремеслам).

Музыка — единственная открытая нам форма эстетической организации времени. Переживание и переживаемое в ней синхронны. Эффект: на какое-то время ты — превращаешься в твою душу, что уже больше катарсиса, что уже прообраз воскресения (кстати, читал как-то в газете, что отпечаток на Плащанице наводит физиков (?) на мысль о термоядерной реакции, произошедшей под ее покровом). В том плане, в каком музыка "предвкушает воскресение во плоти", она и является объектом наибольшего культурного почитания среди западноевропейцев. Вот она, "красота", которая "спасет мир". Во искупление человеком его телесности, *такая* музыка могла возникнуть только в рамках христианства, дабы, немедленно затем эти рамки перешагнув, начать обращать без различия рас и языков — и "еллина" и "иудея". Каждый человек еврей? Что ж, на эту любезность "еллина" могу — в контексте сказанного — ответить такой же точно любезностью: каждый еврей — христианин.

При всей своей вертлявости фраза эта очень даже неофитская: каждый человек еврей, а каждый еврей христианин. А вертлявый тон — по гордой застенчивости. Так вот, сразу все по своим местам: я пишу о христианстве не как о феномене истины, а как о феномене культуры — уникальном, в рассуждении музыки. Что до истины, вроде той, которую мне предлагают в Третьяковской галерее (наверное, Булгакову эта картина Ге страшно нравилась, чувствуется), то тут... Признаться, христианином я уже был. От двух до пяти. По семейному преданию, меня крестила нянька, якобы, заявившая: поганеньким она растить меня не будет. Хотя это только предание — оно мне нравится: почему бы и нет? (Так иным нравится слушать истории про то, как они в детстве проказничали). Нянькина набожность родителям только импонировала — убежден, что старухе, которая не умеет читать и писать, получает девяносто рублей пенсии (девять по н. ст.) и... атеистка, меня бы не доверили; к тому же родители сами "ничего не исключали", в смысле Бога — так, тихой сапой (а Бог, как известно, на всех один). Вот нянькино условие и могло быть пропущено мимо ушей: велика важность, ну, сделает там батюшка полуторогодовалому ребенку тигель-тапель — тем более, что мольз уже сделал. Правда, я не знаю, пошел бы на это священник — в Спасо-Преображенском ли соборе в Ленинграде, в трехстах метрах от нашего дома, где мы с нянькой на пару клали поклоны, в церковке ли, окруженной ельником, в Дубултах, куда мы ездили летом; у батюшки там была невероятно большая белая рука — или это мне три года? Пока шести лет я не попал к Сигал на скрипку, я рос настоящим иудео-христианином: между образком над диваном да

святой водичкой в буфете, перекрещиваемый на ночь — и семейными “сейдерами” у бабушки “Рыбайзыка”, как надлежало нам с двоюродным братом обращаться к прадеду — реб Айзику. Тот никогда не снимал с головы черной шелковой ермолки, такие в пьесах носили чудачки-академики. Идиш дедовского и прадедовского домов был понятен отдельными смысловыми пятнами, велел реч (штыб ди бильке ин анек), но это была вне сомнения *родная* речь, в отличие от бормотания на лошн койдеш’е: адеиноиды-адеиноиды... А вокруг бушевала чума — в коридорах квартир, на улицах, в кухнях; представьте себе, что значит первые пять лет жизни купаться в ненависти, которой мог быть противопоставлен только страх. Тут моей няньке приходилось закладывать душу дьяволу — брать меня под свою защиту. Ничего не поделаешь, она то работала “у явреев” и растила дитя не за страх, а за совесть. Правда, ее антисемитизм был, что ли, “старого благочестия”: евреи Христа убили (кем был Убитый сам, по крайней мере, плотской своею частью, она вряд ли понимала). И, конечно же, евреи — это красные. Сталин — “яврей”; на этом она стояла — как и на том, что я — русский. Ее ненависть к Сталину благополучно передавалась мне, скоро я стал опасным для жизни антисоветским попугаем. Как видите, это у меня началось не с “голосов” и не с папиных европейских чемоданов — но с нянькиных проклятий “красным”, с истории про какую-то корову Милку, которую почему-то резали и плакали. За Милку и выносился Сталину вердикт в духе Стеньки Разина — под нервно-паралитическое “ш-ш-н” моих родителей: “Повесить. Вниз. Головой. При этом та же нянька прятала у себя комиссара: “А раняный-та, в крови... А я яму: суды, сынок, прятыйся”. И никогда ничего худого о немцах, никакой “священной ярости” — война и война. Только жалела “робят”. (Своих детей? наших солдат? Я не понимал.) Все мои распросы о войне удовлетворялись неизменным: “Танки стреляют, тут белые, тут красные, я бегу между...” “Доча, — спрашивала она у мамы про ассирийку, располагавшуюся со своим шкапом перед самой нашей парадной, — а они как явреи или еще хуже?” Мама отвечала: “Что ты, няня, хуже евреев не бывает”. Но все же за годы, прожитые у нас, что-то у нее в мозгу поменялось: Маленков хороший был (как сейчас слышу я ее голос — очевидно, когда уже Маленкова потеснили), он налоги отменил и евреев из тюрьмы выпустил... Значит, понимала все-таки, что никаким крещением моего еврейства не исправись. Я благодарен судьбе, поручившей меня (пока не зарос мой родничок) заботам этой женщины — отнюдь не святой, святые осведомлены о национальной принадлежности Иисуса Христа; даже положенного умиления мне из себя не выжать — “чистотою души темной крестьянки из Калининской области”; боюсь, там просто не было души, там были инстинкты, но изумительно благородные. Не пускают ли за инстинкты в рай? Если да, то сейчас с моей Матреной все в порядке (ее действительно так звали). Я благодарен судьбе за то, что уже одна память об этой горемычной старухе не позволит мне никогда скатиться в заурядную этническую фобию, примеры которой можно наблюдать семя и оваямо — а то ведь легкие пути соблазнительны, неровен час... Шучу. Нянька, ей-Богу, не самое драгоценное среди воспоминаний о прожитых в России 23 годах — то же было бы и без нее. Догадал тебя всемогущий залезть на сторожевого льва, теперь никак не слезть. Между тем, черт нашептывает: превратности рожде-

ния — дело известное, но зачем же их усугублять исключительной привязчивостью к своему прошлому, от которого вдобавок бежал. Да-да, в своем советском прошлом ты менее всего был озабочен Россией — только тем, как бы ударить от нее, хоть в Прибалтику, где, по крайней мере, на вывесках нет кириллицы. А тонкий эклер Парижа, обещанный тебе Дж.Ревалдом и третьим этажом Эрмитажа (но не Эренбургом — этим никогда!). И кто как не ты был декламировал:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю,
Ну как же я тебя предам?

И где возьму благородумье:
"За око — око, кровь — за кровь", —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

— если б лицемерно читал Цветаеву, а не честно слушал Шуберта или "Шуберта, Закованного в Броню" — Брукнера, а читал — Томаса Манна, Гессе, и *прочего Апта*, вплоть до самой своей эмиграции брезгуя всем отечественным. "Правь, Британия..." доблестно выстукивает сердце, едва я вижу "Her Majesty's Service" — на табеле моего сына. "Желание быть испанцем" испытывает "пластического грек". А то, порой, истина: жить в Америке, сказав себе раз и навсегда: я другой такой страны не знаю — провожатый малиновыми глазами сухой лист, живописно скользящий по Миссисипи под мелодию национального гимна, и последним усилием воли выключать в шесть утра телевизор — вру, предпоследним, последним, вставать в восемь на работу. Я так устроен, что лоялен всему. Чешскому кино ничего не стоит распропагандировать меня в пользу чехов, а потом Словацкому — в пользу поляков. Истина и в том, чтобы "С кораблем, который возит чай и кофе" плыть к "Смуглым девушкам с Бали", и в том, чтобы успеть уронить седую голову на колени Сольвейг — милый север хранит верность и готов ждать всю жизнь, жаль, коротка кольчужка... И все же, и все же — из всех моих лояльностей последнее слово всегда останется за национальной и будет оно: "Шма Исраэль". Отовсюду, со всего горизонта, сколько хватает глаз, ведут ко мне человеческие цепочки и через меня они все должны быть пропущены, чтобы пойти дальше; исходное — Бог, конечного я не знаю, но могу предположить.

Позволю себе воспользоваться этим, все равно чудовищно разросшимся примечанием, как попутным транспортом для другого примечания (примечание меньше — читать легче). Говорилось о музыке христианства, но не всегда с указанием, что "западного" — однако подразумевалась исключительно римско-германская цивилизация, у которой в ушах стоит — да! шум времени, незачем ломиться в открытую дверь — почему только в этой цивилизации музыка и могла взойти на высшую ступень культурной иерархии — даже объективно по праву: ибо не она ли несравненный миссионер культурных атрибутов романо-германского христианства во всей Евразии. И тут нас естественно интересует Россия. *С одной стороны*, безмолвною грядой вздымается того же Осипа Мандельштама "великая славянская мечта о том, чтобы время остано-

лось". И правда: Федоров, вера в космос как в панацею от всех бед. *С другой стороны*, 20-й век — это почти торжество русской музыки, сторицей воздавшей своему учителю, Западной Европе. Эти две стороны — две головы орла, только не забудем все же, что обе приданы одному туловищу (о чем часто забывают, как и о том, что сверни той или иной шею, по вкусу — всей птичке конец). Касательно самого туловища — до известной степени чувствуя себя авгуром — хочу заметить: уже не восток, еще не запад (или как угодно, буфер между затурканным татариним и Европой), Россия избрала компромисс — отдав душу поэзии, "падшей музыке", как угодно было ее кому-то назвать. России вместо Моцарта дан Пушкин — и этим все сказано. Но почему *падшая* музыка? Видимо, не точно, что "музыка — единственная открытая нам форма эстетического переживания времени, в которой "переживание и переживаемое синхронны"; точно было бы с оговоркой: единственная безо всяких смысловых примесей. Ибо поэзия тоже есть организация времени, но сугубо ритмическая, где звук в чистом виде заменен словом. Получается, что за меньшее в сравнении с музыкой — только за свой африканский (эфиопский) ритмус, поэзия тянет на себе мысль, а мысль тянет поэзию книзу. "Музыка ничего не выражает, кроме себя самой" — к поэзии это не применимо. "Блаженное бессмысленное слово" — несбыточная мечта поэзии. На этом я пока остановлюсь, но предвижу еще одно примечание, развивающее данную тему — как раз с этого места начиная.

Но сублимирующее действие музыки возможно при одном условии — как поется (приблизительно) Алешей Хвостенко, парижским бардом: люблю лежать с любимой рядом, а с нелюбимой не люблю — человек любит слушать любимую музыку, т.е., помимо прочего, заведомо знакомую. И это непреложное условие: без подходящего знания музыкального материала нет музыкального впечатления; связь между знанием и впечатлением столь тесная, что даже делает их подобием друг друга. А помните основное свойство музыкального впечатления — по этому поводу еще говорилось о губке, как она выпадает из целого, казалось бы, и неведимого горла при первом касании воды — родственной стихии (апулеевская мистика, которая должна была запомниться). Так же и знание музыкального произведения — ничем себя не обнаруживает вне звучания и потому не может быть умозрительным, "медицинским". Возьми, напой, наиграй, услышь про себя и запиши — ведь нотная запись фиксирует уже озвученное знание. Музыка себя *не помнит* в индивидууме только пока тихо, пока извне не раздастся *напоминание* (внутренний слух — это зеркальце, отрабатывающее солнечный зайчик). Но вот "попились" звуки, и — губка чует воду. Любимое произведение — узнанное произведение. Узнавание (между прочим, древнейшая эстетическая ка-

тегория), узнавание исполняемой вещи это как совпадение частот. Душевная акустика, резонанс. Потревожено "внутреннее знание", которое становится объектом эстетического переживания — что, собственно, "смысл" музыки. Очень важно: *внутреннее знание*, т.е. представление, ранее приобретенное, *становится объектом эстетического переживания*.

Столь же важно и другое: внутреннее музыкальное представление (того или иного конкретного опуса) есть сумма более частных представлений, между собою *неравноценных*: гармонических, динамических, мелодических, ритмических, тембровых, темповых и прочая и прочая. Я перечислил по алфавиту, поскольку не рискую декларировать твердый, раз и навсегда, иерархический порядок: во-первых, легко ошибиться; во-вторых, в прелюдии Баха и в прелюде Дебюсси он совершенно различен. К тому же физическое звучание (исполнение) имеет свою шкалу ценностей, там судят совсем в других категориях: экспрессивность, красивый тон, вдохновенная фраза, ангельски-проникновенное пьяниссимо и стальной скок по клавиатуре или смычком по струнам, ну и, само собой разумеется, техническое владение, которое сегодня на таком уровне, что немножко уже бесится с жиру. Хотя превыше всего — гипнотическая воля исполнителя заразить своим переживанием других: надо так сильно чувствовать, чтобы чувствовали другие — верно, Паганини?

Но вернемся к необходимости предварительного знания музыкального материала в свете того, что реальному звучанию, реально исполняемой музыке, непосредственно внимают только ухо, душа же — воображаемому звучанию; вот такой практический идеализм. Проведем здесь параллель между слушателем и — первослушателем, автором. В одном случае воображаемому звучанию предшествовала нотная запись, ее реализация и энное число прослушиваний. В другом случае наоборот, воображаемое звучание первично ("внушено свыше") по отношению к нотной записи и воспроизведению ее (не имеет значения, работает композитор за роялем или за столом, рояль тут не более, чем костыль внутреннему слуху). Иными словами, положение слушателя, в отличие от авторского, таково, что *исключает удовольствие при первом прослушивании*. Это мое кредо. Наслаждаться можно только музыкой, которую любишь, любить — равно как и не любить — можно только то, что знаешь,

чтобы знать, нужно, как минимум, один раз услышать. На самом деле больше — все зависит от подготовленности слушателя. Или, если брать сторону слушателя, от новизны произведения. Абсолютно незнакомого произведения быть не может. Мы инстинктивно ищем в новом то, что доступно узнаванию — и находим (эпигоны должны молиться на эту особенность нашего воспитания). Неизвестная песня Шуберта у кого-то может исторгнуть шубертовские слезы, однако душа — тем, что умылась слезами — обязана наименее оригинальному, что в этой песне есть. Поэтому прежде, чем возражать мне на основании личного опыта, подумайте: а не такого ли рода этот ваш личный опыт? И если тем не менее будете стоять на своем — что в музыке возможна любовь с первого взгляда — то я, конечно, пас, дальнейшие старания вас в чем-то убедить будут напрасны.

Мои кисловодские каникулы были полны музыкальных открытий благодаря хождениям, помимо всех концертов, и на все репетиции к ним; и благодаря поездкам в статусе сына полка по всем окрестным курортам, где программа повторялась. Не знаю, сколько раз за одну неделю я кружился в берлиозовском вальсе, в глубине души не понимая, чем уж так плох Думбар, над которым все смеются. Но вот другое воспоминание, кажется, того же лета: настроившись однажды на сорок девятую волну, мы с отцом, вместо преступного кайфа, поймали какой-то оркестр (обычно, все наоборот: честные советские люди, норовя поймать вечером филладельфийский оркестр, случайно напарываются на клеветнические голоса, о чем время от времени, возмущенные, пишут в газету): "Симфония Малера", сказал папа. И мы довольно долго слушали музыку, напомнившую мне увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта". Только спустя года два я сотворил себе из Малера кумира — смешно сказать, что меня охмурило: музыкальный рефрен в одном венгерском фильме — а уж в кино-то умеют повторять одну и ту же мелодию — собою являл тематическое зерно третьей части малеровской первой симфонии: "Братец Яков" на идишско-минорный лад. Фильм держался на этом мотивчике, выражавшем то, "что хотел сказать автор" (но не смог): центрально-европейское государство, предоставленное своей послевоенной судьбе (студенты, канонада, флаг), и почему-то, ибо не совсем логичная, ностальгия... по идеалам гнилого либерализма, такого тревожного, в духе "Звезды горят в

небе. Европа, Европа. Я с пистолетом” — либерализма, чьим именем эта послевоенная судьба уготовлялась. Имя немецкое, фамилия еврейская — боюсь. (Магическая фигура в фильме, отец мальчика, сухопарой смуглостью и очками напоминает одну из фотографий Густава Малера). Фильм назывался “Отец” — и в нем, не переставая, звучал парафраз на музыку, о которой мой отец рассказывал мне (в Кисловодске), что это, значит, звери хоронят охотника: сперва идут чинно, все скорбят, но постепенно — все-таки звери же — забывают о своей печали, об умершем охотнике, начинают идти вприпрыжку, приплясывая — пока не спохватываются и все не повторяется заново. Я пристрастился слушать эту часть на пластинке (“Концерт-гебоу” п/у Хайтинга, всесоюзная студия грамзаписи “Пират”), врезался по уши в эту современную Малеру садовую музыку с ее пророческой ностальгией; за третьей частью, разумеется, следовала четвертая — уже не только “Дети капитана Гранта”, уже, оказывалось, все дети, потерявшие своих отцов. А там и первая, и вторая части. Музыка Малера достаточно однородна. Если к ней поднести спичку, вспыхивает, как сухая газета — и ты в этом костре, беснующаяся саламандра... (как нацисты подводили Малера под монастырь: еврейская на-все-похожесть и в этом смысле однородность). Да, правда, “внутреннее знание” малеровской музыки дается легко, стоит только начать. Возможно отчасти этим объясняется истерический роман с Малером очень многих — мой так был совершенно истерическим (да и продолжает быть).

“Внутреннее знание” музыки приобретается повторным слушанием, стремление обязать к такому уже заложено в самом произведении: сонатное аллегро, рондо, вариации или полифония-матушка, или танцевальная площадка в стиле барокко — все это с точки зрения формы различные виды повторяемости; музыкальная форма — это повторяемость. Не очень искусственному по части теории меломану покажется, что чемпион здесь — “Болеро” Равеля. Однако чакона — то же самое “болеро”, только снизу, в басу. С развитием романтизма музыкальная форма становится проще и “беспринципней” — т.е. повторяемость мы имеем уже без каких бы то ни было правил, почти как в музыке к фильмам. Лист “взрывает форму изнутри” — учили нас. Он делает это ради монотематизма: чем меньше тем, тем скорей они запомнятся, полюбятся. Его великий

зять одной рукой отнимает у нас оперные арии — казалось бы, в ущерб восприятию: опера из одних речитативов, без арий, ансамблей, хоров... это же абсурд. Жданова на него не было — но другой рукой он дарует нам лейтмотивы. "Кольцо" — это двадцать часов лейтмотивов! Ты же потом на всю жизнь попадаешь к ним в плен — чего Аронович так перепугался. (Я ведь не поверю, что пожелание "лучше б Вагнер не родился" явилось следствием раскрытия и публикации — по истечении завещанного мемуаристкой срока: полувека с момента ее смерти и века с момента смерти ее мужа — "Дневников" Козимы Лист. Должен же Аронович понимать, что веди дневники какая-нибудь "Пелагея" Хренникова — прошу прощения за назойливость — их, наверное, пришлось бы, замуравывая до второго пришествия). Я думаю, непредубежденный против меня теоретик сумеет в двенадцатитоновой системе Шенберга тоже разглядеть попытку — другое дело, удачную или неудачную — преобразить систему "повторов" — причем, с той же, в сущности, целью, с какой Бюлов, первый муж Козимы, дважды на протяжении одного концерта исполнял Девятую Бетховена. Второе отделение было как грандиозное эхо.

Эмма Герштейн пишет, как, в одной московской квартире устроили прослушивание "Матеус пассион": "Добрые слоны" обещали угостить Осипа Мандельштама пластинкой "Страсти" Баха. Он никак не мог пропустить такой вечер, ведь в Консерватории "религиозная" музыка не исполнялась. А Надя была больна и я пошла вместе с Осипом Эмильевичем, радуясь перспективе послушать недоступный опус Баха. (...) "Страсти от (!) Матфея" были записаны в исполнении знаменитых иностранных певцов и оркестра. Слушать их было таким торжеством для Мандельштама, что он почти не замечал пояснительных слов, которыми товарищ из Радио сопровождал каждую смену пластинок". ("Товарищ из Радио" и принес их вместе с патефоном. Естественно, это были только отдельные, наиболее известные номера. Мне плохо представляется, чтобы кто-то притащил на четыре часа — в оригинале, со всеми повторениями, больше чем на пять — старых граммофонных пластинок — "и патефон". Да и записи такой еще не было, все прослушивание от силы могло занять сорок минут). "Но когда все закончилось и после обмена вежливостями Осип Эмильевич собрался было распрощаться, предложили проверить всю программу вторично. Мандельштам отнекивался, я его поддерживала, однако делать нечего... пришлось подчиниться. Мандельштам слушал, слушал, но повторять только что пережитое было выше его сил" (далее происходит скандал).

Атрофия музыкального чувства выдает себя здесь в каждом слове: шли послушать "недоступный опус Баха". И дело не в том, кто писал, факт есть факт: Мандельштаму, абсолютному поэту, ни к чему было слушать музыку. Но разве мог он, пасынок артисти-

ческого петербургского салона, себе в этом признаться, когда это принято веками: видеть музыку и поэзию в объятиях друг друга — странно, никто же не подозревает евреев и арабов во взаимной склонности ввиду их общих чувств к Иерусалиму. У Надежды Мандельштам есть "Федя Маранц, обезьяноподобный агроном, прелестнейший и чистейший человек, готовившийся в скрипачи, но случайно испортивший себе в юности руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые (!), но музыкально чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов"; по мне "готовившийся в скрипачи" звучит как "дочь врача" — в японской какой-нибудь сказке. Я не хочу этим сказать, что Бах в исполнении знаменитых иностранных солистов привлекал Мандельштама тем же, чем маникюршу из "Националя" — концерт рихтеровского "Ансамбля им. Баха" (как писалось на афишах в Союзе). Другим, безусловно — пониманием культуры, как межцехового профессионального объединения в виде ряда сообщающихся сосудов, по которым, сохраняя единый уровень, струится дух творчества: мы — музыканты, танцовщики, поэты, художники, кинорежиссеры, драматурги — мы служим одному божеству... Хотя этот союз, питомцев разных муз, противоестественен как СССР. Универсальное восприятие культуры — привилегия посредственностей, которые с большим или меньшим комфортом располагаются на обширной и давно отвованной территории. Мандельштам, всю жизнь находившийся в острейшем поэтическом прорыве, в музыке был нормальным консервативно-буржуазным потребителем — только без потребностей, они отпали (и слава Богу!), что, впрочем, им драпировалось средствами литературы. (Когда я как-то высказал это одному ученому мужу, он на меня накричал, добавив, что Мандельштам ходил на концерты с партитурой — и сколько волшебства было в этом слове, и сколько недоступности... "Ахиц им паровоз! — хотелось мне ему сказать, — партитура!" Парнок вполне мог явиться в Дворянское собрание с партитурой — в "SAS'ке", с которой мой кузен разгуливал по Невскому, тоже всегда было пусто). Отсюда для меня такая нестерпимая фальшь в знаменитом "Александре Герцовиче":

Пускай там италяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой-голубую
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть

— стихотворении, которое многих волнует до слез. Либо я должен от всего отрешиться, забыть, что такое Шуберт — либо мандельштамовскому "Сердцевичу" в моем мире делать нечего. И это не чванливое раздражение профессионала тем, как туманится чей-то взор от слов, скажем, "allegro", "партия виолончели", "соната". На любого профессионала найдется всегда больший профессионал — и разобьет меня, уличив в неточности, еще в чем-то, еще в чем-то, что в моем случае вовсе не сверхзадача: я же не "Дочь врача", я всего лишь "Ученик чародея". Использование музыкальной сим-

волики и вообще музыкальных образов в поэзии — “скрипачей”, “бетховенов”, “ноктюрнов”, музыкальных терминов и т.д. — не обязательно означает, что данная поэзия плоха (хотя стихи о музыке есть тавтология уже по определению). Однако это обязательно означает превращение даже великого поэта в госпожу Вердюрен. Русская поэзия — это национальная святыня, о’кэй! В гениальную госпожу Вердюрен. Какой бы отваги не был исполнен тот или иной поэтический космос, его творец почтительнейше склоняется перед “авторитетным суждением” о музыке, в этой области низводя себя на одну ступень с культурной черной, во всем прочем почему-то презираемой. (Той же монетой, надо сказать, платят поэтам и музыканты, здесь даже хуже: поэтическая табель о рангах чаще, чем музыкальная, подвергается ревизии последующих поколений. Узвлена же была Цветаева литературным вкусом Стравинского. Потомки не раз с удивлением отмечали, сколько замечательной музыки связано с третьестепенным текстом. Правда, уж ежели поется, то что Пушкин, что Раггауз, что иностраный язык — все едино: еще ни разу текст не спасал музыки, наоборот же — сколько угодно). Из поэтического квартета в составе, как и положено, двух мужских и двух женских голосов, к тому же честно поделенных между Москвой и Петербургом: Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова — первые трое имели определенное понятие о музыке (т.е. были музыкально грамотны), а первые двое даже как бы профессионально в детстве занимались музыкой. Вероятно, Цветаева, прежде чем бросить роля, достигла высот третьего-четвертого класса музыкальной школы (“Танец Анитры”, “Элизе”), Пастернак, не хотевший шевелить пальцами и предпочитавший подбирать гармонические последовательности, бессистемно занимался музыкальной теорией — т.е. уже изначально был нацелен на литературное поприще. Это говорит к тому, что многие немусыканты обольщаются насчет музыкального образования Цветаевой и Пастернака. Да хоть бы оно и было! Это все равно была бы лекция-концерт, музыкальная редакция московского радио, Мария Вениаминовна Юдина как заклинание от всех и всяческих бед, а в зеркалах — Скрябин... Скрябин... Русская поэзия не случайно бредила Скрябиным — он брал не музыкой, а тем, что поверх музыки размазывал. Скрябинские беснования и по сей день не затихли. Напротив, социалистический реализм спровоцировал увлечение интеллигенции этим московским “югендштилем” уже на идейной основе. Сам Скрябин боготворил Шопена с Листом и говорил о Шуберте: *musique pour les jeunes demoiselles*. “Я бы никогда не смог полюбить даже одного такта его напыщенной музыки”, написал Стравинский о Скрябине — и я читал это с таким чувством, будто добро победило зло, справедливость восторжествовала... Здесь мое отношение к Скрябину даже ни при чем — не имею же я ничего к Эжену Изаи, с которым наверно бельгийские символисты так не носились. Здесь “при чем” как и кто ему кадит: “Пушкин и Скрябин — два превращения одного солнца, два превращения одного сердца”.

Суммирую: поэзия и музыка — не как приятное времяпрепровождение, но как духовное убежище — даны человеку на выбор.

До сих пор я старался восприятие музыки как “облагораживающего страдания” представить монополией определенного

душевного состояния — выражающегося словами "повторение", "узнавание", "воспоминание", "возвращение". Посмотрим на музыкальное исполнительство под таким углом зрения. Т.е. исходя из того, что эмоциональная реакция на музыку действительно не соотносится с ее непосредственным звучанием (исполнением). Значит, исполнение есть напоминание, есть включение в розетку того или иного известного уже музыкального образа, которому исполняемое произведение идентично ("губка" — "вода"). Как бы Рихтер ни стучался в ухо, душа способна впустить лишь эхо вчерашнего концерта. Это не вяжется с концепцией исполнительства, согласно которой "подключенные к восприятию куда более совершенному, чем его собственное, слушатель вслед за вергилием-исполнителем способен проследовать всеми кругами, всеми небесами..." (читатель, возможно, вспомнит, что уже читал это). Да, это и вправду не вяжется. Что такое исполнитель? (И это вы уже читали). "Исполнитель — не только звучащее тело, он тоже слушатель, часть собственной публики, но, в отличие от последней, его музыкальное переживание имеет музыкальное выражение. Интерпретация: субъективное переживание как "объективная реальность". Исполнитель — тот же слушатель; слушатель — тот же исполнитель. То, что один переживает в себе, другой переживает вслух — материализует свое переживание. Это и зовется интерпретацией. Интерпретация — неизбежный чувственный балласт, без которого сугубо техническое по своим нуждам посредничество исполнителя — между нотным знаком и его отзвуком в нашем сознании — невозможно; так невозможно донору семени сохранять бесстрастность в работе. Однако интерпретаторство (экстаз, просочившийся наружу) из побочного свойства всякого исполнения становится его целью, негласно превращая музыку в средство для демонстрации себя. А порой — гласно: музыкальные конкурсы, где одно и то же сочинение подряд играют десятки пар рук — здесь публике откровенно предлагают слушать игру вместо музыки; или же исполнители оранжировок — от фанатиков "неконцертных" (не имеющих своего репертуара) инструментов: альты, контрабасы и т.д. — к счастью, этих дон-кихотов, отстаивающих честь своего музыкального орудия, сравнительно мало — до непредусмотренных самой музыкой музыкальных составов, вроде ансамбля скрипачей, в унисон дующих "Полет "шмуля", а в терцию — "Ант-

ракт” из балета “Раймонда” — конечно, это уже откровенный аттракцион, для “Книги рекордов”. Но не забудем, что мораль и Ю.Реентовича (“Ансамбль скрипачей Большого театра”), и Баршая, записывающего чакону на альте — и того же Баршая, но уже в амплуа руководителя московского камерного, т.е. состава по жанру своему чистейшего — мораль у всех исполнителей от мала до велика, от Динику до Гульда, одна. Мораль интерпретатора: мое переживание музыки так глубоко, что не может быть моим частным делом; оно, конечно же, обладает самостоятельной художественной ценностью и потому — тоже произведение искусства. Дать почувствовать свои чувства (“такие сильные”) — приятная задача: и тем, что успех делишь с Бетховеном, Бахом — с кем душе твоей угодно; и тем, что их успех неотделим от твоего, больше того, в представлении человечества без тебя был бы невозможен — последнее явствует хотя бы из афиш, где имя солиста набрано по-королевски в сравнении с субтитрами, представляющими гри-четыре композиторских имени.

Исполнительство следовало бы рассматривать как неизбежное зло за одно уже то, что оно посредник. Впрочем, какой же посредник согласится с подобной оценкою своей роли, он постарается ее возвысить, а себе соответственно дать иное имя. Однако есть более конкретные причины, на мой взгляд, считать исполнительство злом. (Почему “неизбежным”, ясно, почему беспочвенным в плане духовных амбиций — тоже, я надеюсь: функция исполнительства “пробуждать воспоминания”, а там все равно “душа” слышит “райские напевы”. Вот, извольте, еще один пример в пользу того, что реальное исполнение, обслуживает лишь барабанную перепонку и не глубже /предыдущий пример касался домашнего музицирования, а также читтки с листа, способных тем не менее вызвать сильнейший эмоциональный отклик/: исполнительская техника, исполнительская манера, уровень оркестровой игры, игры сольной — все это за 250 лет изменилось до неузнаваемости. Паганини, бывшему на четверть века младше Моцарта, ставили в упрек, что он вибрирует каждую ноту — требование, сегодня предъявляемое любому скрипачу. Так что Моцарт, ученик своего отца, забраковал бы Паганини в два счета — то, как сам он играл свои скрипичные сочинения, сегодня слушать уже было бы нельзя. Значит ли это, что в век Моцарта музыкальное переживание было

не столь исчерпывающим, менее интенсивным, нежели теперь? Что только двадцатое столетие открыло нам всю глубину моцартовского гения — глубину, от которой сам автор, видимо бы, отрекся? Или наоборот, это сейчас мы ничего не понимаем в Моцарте? А Гофман и его восторги — звуки, родившие их, повергли бы нас в ужас. Как повергли бы в ужас Гоффмана оркестры, которые за сто лет до него превозносил до небес Бёрни в своих "Музыкальных путешествиях". Означает ли это, что Бёрни не испытывал и четверти того блаженства, которое критику музыкального отдела газеты "Обсервер" позволительно испытывать — вчера, сегодня, завтра... Все дело в привычке — к определенному уровню, к определенной манере. Даже фальшивая интонация — понятие относительное. Голосу наш слух и сегодня прощает то, что никогда бы не простил инструменту. А как фальшивили раньше инструменталисты — и безо всякого ущерба для восприятия. Тому пример — шипучая пластинка Кубелика /а теперь вспомним, какой ажиотаж стоял вокруг концертов Кубелика в Петербурге, по описанию Мандельштама: "Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, даже первины скрябинского "Прометей", не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале"/. А Адольфа Бродского, только за его глиссандо от затактового пустого ре к сильной доле в "Канцонетте", разве не повесили бы сегодня в Москве — прямо на памятнике Чайковскому? Хотя первый исполнитель и адресат посвящения, Бродский в своей книге "Воспоминания русского" пишет о трактовке им скрипичного концерта Чайковского как об авторизованной — от начала и до конца. Я не знаю, чем еще могу убедить читателя, что потребность в западноевропейской музыке утоляется *только* внутренним слухом. Мысленным. Параллельным физическому.)

Итак, почему исполнительство надо считать злом, неизбежным или еще каким-то — потому лишь, что посредник требует свою долю? Если бы речь шла о доле успеха, славы, все было бы законно — в крайнем случае, это была бы социологическая проблема. Но проблема — эстетическая. Интерпретирование музыки есть уже способ эмоционального воздействия. Притом, что отнюдь не внешним звучанием — в котором интерпретатор только и может проявиться — достигается известное эстетическое блаженство (по Достоевскому, залог спасения ми-

ра; по-моему, тоже). Иначе говоря, в дополнение к собственному музыкальному переживанию происходит еще *сопереживание* исполнителю, задача которого на деле — донести до слушателя свои "сильные чувства" (а вовсе не музыку). Однако *чужое* переживание — дамба на пути музыкального восприятия: на внутреннее чувство (твое) накладывается его внешний аналог ("льстивое зеркало"), интерпретатор соблазняет своего меньшего брата (внутри себя слушатель ведь точно такой же интерпретатор) уже готовым переживанием. Это противоречие неразрешимо — оно даже не названо. У нас внутрислуховой "плэйбек", а у кого-то на лице все признаки "музыкальной благодати". (Ответьте сходу: что вам милей, взятое голосом Пласидо Доминго "до" второй октавы на полчаса или мотивчик из "Дон Жуана" — внутренним голосом? Вы скажете, это нечестно, "внутренних" голосов миллионы, но уж когда "Пласидо Доминго" запоет тот же мотивчик... Но это не ответ, это увиливание от ответа.) Значит, повторяю снова (я все время твержу одно и то же — проходим новый материал): исполнение "включает" твою "внутреннюю запись", верно, но с другой стороны, всеми силами старается удержать тебя по эту — наружную — сторону звучания. Начинается тяжба. В пору романтизма она была решена в пользу исполнителя. Еще бы — судила заинтересованная сторона. Состоялся квази-соломонов суд — но без царя Соломона: музыкальное произведение под угрозой рассечения слушателя надвое уступало его своему интерпретатору — на том и порешили.

Но абсолютной автономии исполнительства от музыки быть не может: секвенции октавами во всю пасть клавиатуры — тоже музыка; даже верхнее "до" Пласидо Доминго — музыка, только музыка, не представляющая опасности для исполнительства. Исполнители — в своем натуральном виде, без современного интеллектуального грима — это продавцы плохой музыки. Какая бойкая торговля музыкальным дерьмом шла в концертных залах Европы, со времен их постройки и вплоть до первой мировой войны. (Сергеев — мне: "Знаешь... Хейфец-то, почему гений а? "Гитару" Мошковского — дерьмо же — играет — ну, чистый концерт Брамса... И так серьезно.") И потом еще одно обстоятельство, я о нем уже раньше говорил: музыкальное звучание складывается из элементов различной степени важности, как бы из того, без чего произведения не

может быть в первую очередь, во вторую, в третью и т.д. Например, лад важнее тональности, или мелодическая фигура важнее ее тембровой окраски. Эта табель о рангах не отлита в бронзе, отдельные показатели меняются порой местами, в зависимости от эпохи, стиля, но в общем иерархия сохраняется. И она начисто не совпадает с исполнительской шкалой ценностей. Едва ли не все наоборот: титулярный советник оказывается генералом, кто был генерал в своем департаменте — тот уволен по сокращению штатов. Такие исполнительские понятия, высочайшие, как контакт с залом, "живое" исполнение, — абсолютно безразличны нашему внутреннему представлению музыки, ее идее, так сказать. Зато исполнительство не различает между плохой и хорошей музыкой: любое сочинение надо сыграть так, чтоб оно из плохого стало хорошим ("сделать из г... конфетку" — мораль исполнителя). Потому в рассуждении "мотивчика" из "Дон-Жуана", что знаменитый оперный певец, что безвестный внутренний голос — все равно. Главное, едва услышав его ("мотивчик"), Лепорелло восклицает: "Questa poi la conosco pur troppo!" (А это мне уже знакомо!) На фоне мелодического и ритмического рисунков и их гармонизации — у Шуберта, допустим — все ухищрения интерпретаторов выглядят мышшиной возней, хотя, по их убеждению, сулят пьесе второе (пятое, десятое, тысячное) рождение. "Ну, ноты вы сыграли, теперь будем делать музыку", говорила проф. Фондаминская, обращаясь к студенческой парочке — класс камерного ансамбля, преподавание которого и Вейнингера бы превратило в сводню. Безусловно, и ей в молодости говорилось то же самое, и ее учительнице (Елене Осиповне Брик). Понимавшая под музыкой игру "с выделениями" Фондаминская начинала дребезжащим голосом напевать мелодию, нещадно фразируя ее — о том, как пианисты поют, можно написать отдельный роман.

Фондаминская — пропускавшая через себя кубометры дыма, маленькая-сухонькая, волосы в пучок, с мордочкой вспугнутого черноглазого зверька, из сумки лакомой трубчатой костью торчит "ИЛ" с "Аэропортом", в классе непрременными приживалками одна-две студентки — по-советски неухоженные, с немьтыми головами, в блеклых кофточках (будущие "бабоньки", жмущиеся к "своей"). Фондаминская — бывшая жена Сергеева, их разводу предшествовала статья в "Смене", — может быть, в "Ленинградской Правде" — вот, дескать, сами профессора и доценты, а выразители правонарушителя (компания наклюкавшихся подростков пыталась нарушить восьмую заповедь). Сколько жизней полома-

ли такие статьи, различные гаденькие фельетоны. Разведенные "доцент и профессор" оставались соседями по коммуналке (на Кузнечном). У Сергеева на шкафу стояла модель парусника, раз он многозначительно намекнул, что смастерил его для сына — тот жил в комнате матери, они не здоровались. Когда ректор Серебряков — который своему сыну, в отличие от Сергеева, мастерил нечто большее, чем кораблик — объявил войну Израилю (в лице его потенциальных граждан), Фондаминская пострадала: на ученом совете ее, совершенную божью коровку, не утвердили в должности. По крайней мере, я так слышал — к тому времени я уже год как служил под командованием старшего сержанта Афлало возле Рамаллаха. Ленинград, консерватория, Фондаминская — какой далекой чепухой это казалось. Теперь все снова вернулось.

Собственно, я все сказал, читатель, что хотел — хотя и не представляю, к кому обращался. Я снова и снова на это сетую: изошренный русский читатель подобен своим любимым авторам ("У моей матери был абсолютный слух", изумляется сам себе Набоков). Русский же музыкант — и не только русский, любой — консервативен он или радикален, он интеллектуально страшно несамостоятелен. К тому же не мне, предавшему свой цех, искать у него поддержки. "Вы как еврей-антисемит, — сказал мне недавно один из них и добавил: — Из всех антисемитов такие — самые страшные".

Не исключаю я и того, что какой-то симпатичный человек все прочтет, все уяснит, вроде бы даже со всем согласится, а под конец скажет: "Но один концерт, Владимира Горовица в Большом зале Консерватории, все же исключение из правила, о котором вы говорите — бывают ведь исключения из правил. Казалось бы сколько раз слышала вальс Шуберта, ну, знаете, этот — "Венские вечера", в обработке Листа... Но тогда, в исполнении Горовица, это была иная музыка, иная, клянусь вам". Ну что на это можно ответить? И человек она славный, и, главное, полна желанием тебя понять.

"Ну, хорошо, — слышу голос, отнюдь не единомышленника, скорее противника, он с достоинством признает свою "недостаточную компетентность", но "здравый смысл" подсказывает ему несколько вопросов. — "Допустим, вы правы — с вашим манихейством. Я говорю "допустим". У вас есть что предложить взамен? Что-нибудь конкретное?" Дальше перефразирован Черчилль, оправдывавший несовершенство западных демократий тем, что ничего лучшего покамест человечество не придумало.

Что мне на это сказать — что сперва сбросим ложных миров, а там будет видно? Практика, себя дискредитировавшая. Впрочем, что-то позитивное у меня припасено про запас. Я говорил, что к исполнению привыкаешь — и к игре без вибрации, и к игре с "кошачьими глоссандами", и к приблизительной интонации тоже. Последние несколько поколений слушателей приучены к определенному исполнительскому уровню, к определенному стандарту качества. Игра, не отвечающая этому стандарту, или даже просто в иной манере — прошлого столетия, к примеру — меня бы отвлекала, может быть, раздражала. В конце концов, я привык слушать Ростроповича, а не Вержбиловича. И не вообще, а в частности: такое-то произведение я всегда ставлю в его записи, у меня уже двадцать лет эта пластинка. И когда я хочу прослушать, ну, не знаю... таких ведь пластинок много — скажем, "Дон-Кихота", я ставлю в свое удовольствие "Дон-Кихота", думая о чем угодно при этом — обычно, об "Избраннике" Томаса Манна, почему-то (т.е. я прекрасно знаю почему, эта моя заветная юношеская ассоциация: прекрасная сказка Европы подходит к своему пошловатому концу, Томас Манн и Рихард Штраус — первые создатели массового туризма в месте бывшего великолепия), но менее всего — о Ростроповиче. Его здесь просто нет, за двадцать лет интерпретаторский нарост, благодаря своей неизменности, становится частью моего исходного знания "Дон-Кихота". Это стало возможным лишь с появлением в сороковые годы новой звукозаписывающей техники. Раньше, чтобы услышать музыку, люди одевались и шли туда, где их ждал очередной интерпретаторский сюрприз — который они, будучи соответствующим образом научены, предвкушали. Ничего не менялось, даже если исполнение было им уже знакомо — нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Только чаще исполнители оказывались разными, институт гастролеров был чрезвычайно развит. Собственно говоря, даже не в исполнении как таковом неизбежное зло, а в неизбежности интерпретаторской деятельности. Интерпретация же, раз и навсегда закрепленная за произведением звукозаписью, более не воспринимается в отрыве от него.

Чем не выход? Этому есть лишь одно относительное препятствие, формулируемое мною так: *неизбежное зло перестает быть злом, едва перестает быть неизбежным* (мне доводилось об этом писать — по другому поводу, это правило универсаль-

но*). Теперь, когда разные интерпретации одного и того же сочинения перестали быть технической неизбежностью, разница между ними становится стимулом — и коммерческим, и творческим — для изготовления пластинок. "Искусство Караяна", "Искусство Святослава Рихтера" — десятки, сотни записей прихотятся на один ноктюрн Шопена, на один бетховенский концерт, и число этих записей множится, новые поколения рожают новые "звезды". По-прежнему Рудольф Крейцер — компенсация неудобопонятному Бетховену, только сейчас это уже носит пугающий характер: Рудольф Крейцер выступает душе-спасительной альтернативой Булезу, Штокгаузену. Что, конечно, долго продолжаться не будет. Прежде всего тому порукой современное состояние музыки: какие пути ни ждут ее, какое звучание ни возобладает в нынешнем эклектическом антиэ-лектизме и наоборот, для него, для этого звучания, не подойдет уже традиционный способ эксплуатации инструмента (смычок — струны, легкие — мундштук). Ждите: через полстолетия, если не раньше, во всем мире сильно пополнятся коллекции музыкальных инструментов. Исполнение новой, еще неигранной музыки — единственное, чем исполнительство может оправдать свое существование, одновременно нелегкое и паразитическое, и уж точно лишаящее детства. Но главное — до сих пор оправданию подлежала сопряженная с этой профессией некая тайная жертва, пора ее назвать. И не спорьте, я скажу сейчас печальную правду: как жрецы какого-нибудь культа сладострастия сами бывают оскоплены, так идеальный музыкант-исполнитель ЛИЧНО ничего не имеет с того, что он — "звучащее тело". В идеале его переживание стопроцентно материализуется, он — громоотвод, молния бьет, но электричество уходит не в душу, а в интерпретацию. Чем профессиональней музыкант, чем крупнее его исполнительское дарование, тем меньше у него шансов испытать то, что любой посредственности дано пережить — и как! и сколько раз! — причем с его помощью. В противном случае все эти Хейфецы, Полякины, Стерны должны страдать шизофренией — раздвоением личности. Но они ею не страдают, будьте покойны. Слушая великого Хейфеца (Сер-

* Универсально вплоть до того, что коли в конце концов — лучше сказать, в "конце времен и в преддверии чего-то нового" — можно будет землю не мотыжить и "в болезни" не рожать, мужчины и женщины вдруг найдут особую прелесть в этих проклятиях рода человеческого, даже не нравственную, а физическую.

геев прав), никогда не почувствуешь, что концерт Брамса ему нравится больше "Гитары" Мошковского — только в этом не величие его, а великое его несчастье: ибо так оно и есть. Это цена "блеска и шумихи знаменитых "стар" (дьявол должен очень любить скрипку — столько фаустов сразу... и там же читаем дальше). "Публика относится к этим "звездам" с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно только желание отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют" — заменим "часто" на "всегда" и с этим будет невозможно не согласиться. Просвещенный читатель мне заметит, что я цитирую Стравинского, лишь когда мне выгодно. Что ж, вынося свое мнение на суд публики, автор как подсудимый: в полном праве не давать показаний против самого себя. Отпуская исполнительству в его нынешнем виде не более полувека (вопреки небывалому, казалось бы, расцвету, массовости, государственной поддержке: консерватории, конкурсы, фестивали, перелеты с континента на континент целыми симфоническими оркестрами... вот уж и японцы хлынули толпой...), я в своем прогнозе исхожу из того, что питается это все колоссальной культурной инерцией, силою вековых авторитетов. Исполнительское искусство сегодня — воспользуемся известной фигурой красноречия — подобно цветам в вазе с водой, что с того, что бутоны распускаются. Мне кажется, свою роль в предстоящем крахе сыграет социальная эмансипация поп — рок — и тому подобного добра. Сопереживание зала тамошним "звездам", неистовое, какое возможно лишь при нулевом качестве музыки (*полном и абсолютном* отсутствии ее предварительного знания), а с другой стороны новый культурно-социальный статус уже сказанных "звезд" (могут быть приняты королевой) разложит классическое исполнительство. Да ежели еще параллельно, в свете все большей приватизации образа жизни и в т.ч. удовольствий, какая-нибудь новомодная величина во всеуслышание назовет посещение концертов крайне обременительным анахронизмом...

Среди нареканий, которые может вызвать этот мой "анти-скрипичный" опус, легко предположить и такое: в нем "меня слишком много" — как меня учили, кто меня учил — хотя в исполнительстве выдающимся образом я себя отнюдь не проявил. Или это психологический роман от первого лица? Верно, я

постоянно, где мог, старался то прямо, то исподволь вывести себя — не из нарцизма, и не из желания внушить читателю, что чего-то стою как музыкант. Просто, чтобы разобраться в написанном мной, читателю необходимо составить обо мне, как о личности, какое-то мнение. Ибо все это — страшно субъективно, обо всем и обо всех я сужу по себе. Я не уверен, что это недостаток — уж всяко лучше, чем о себе судить по другим. А ведь именно так поступает большинство: навязывает себе чужие чувства, вкусы, взгляды. Этому есть название: конформизм. Но если кто-то скажет, что конформизму я противопоставляю оригинальничанье, мне ничего другого не останется, как призвать в свидетели небо: я — в том, что я пишу — абсолютно честен с самим собою. Я сам себе больше оппонент, чем кто-либо другой: всякая неправда есть зло, ее обличение есть благо (то, с чего я начал, первое предложение) — Толстой с этими словами приступил к развенчанию Шекспира, чья слава казалась ему незаслуженно великой*.

Приложение

ПОСЛЕДНИЙ ГОЛОДАРЬ

За последние десятилетия интерес к искусству голодания заметно упал. Если раньше можно было нажать большие деньги, показывая публике голодаря, то в наши дни это просто немисливо.

То были другие времена. Тогда, бывало, в городе только и разговоров, что о голодаре, и чем дольше он голодал, тем больше народу стекалось к его клетке; каждый стремился хоть раз в день взглянуть на мастера голода, а к концу голодовки некоторые зрители с утра до вечера простаивали перед клеткой. Его показывали даже ночью — для вящего эффекта при свете факелов.

(...) Когда люди, бывшие свидетелями подобных сцен, вспоминали о них несколько лет спустя, они сами себе удивлялись. Дело в том, что за эти несколько лет произошел тот перелом, о котором здесь уже говорилось: он наступил почти внезапно и, по-видимому, был вызван глубокими причинами, но кому была охота доискиваться этих причин? Так или иначе, в один прекрасный день избалованный публикой маэстро вдруг обнару-

* Цитата приблизительная, мне не с чем сейчас свериться.

жил, что алчущая развлечений толпа покинула его и устремилась к другим зрелищам. Импрессарио еще раз объехал с ним пол-Европы, надеясь, что где-нибудь да пробудится прежний интерес к мастеру голода, но все напрасно. Везде и всюду, словно по тайному сговору, распространилось вдруг отвращение к искусству голодания. Разумеется, на самом деле это случилось не так уж внезапно, и теперь, задним числом, нетрудно было вспомнить кое-какие угрожающие предвестия, только в угаре успеха никто не придавал им большого значения и не оказал должного отпора. А теперь было уже поздно предпринимать что-либо. Правда, не могло быть и тени сомнения в том, что когда-нибудь для этого искусства вновь наступят счастливые времена, но для смертных это слабое утешение. На что был теперь обречен голодарь? Тот, кому рукоплескали прежде тысячи зрителей, не мог показываться в ярмарочных балаганах, а чтобы менять профессию, голодарь был и слишком стар и — что главное — слишком предан своему искусству.

Франц Кафка. "Голодарь"

В бытность мою в Ленинграде там проживал подпольный торговец скрипками, некто Лев Григорьевич — в телесах, пышноволосяй "брунэт", вдруг, в считанные недели, драматически облысевший. Я нередко встречал его у моей матери в классе, или он заходил к нам домой, держа в руке неизменный двойной футляр. Мне очень нравилось, как расписывает он свой товар: весело, со множеством одесских прибауток (одну из которых я больше ни от кого не слышал: "Как покойники питаются, так они и выглядят"). Был Лев Григорьевич — жулик, слепых и хромых кляч он выдавал за арабских скакунов: утончал дерево, занимался пересадкой дек и головок или наоборот имитировал врезную шейку — шов на горле старых скрипок, в начале XIX века переделанных. Безбоязненно наслаждаться пением этой сирены можно было лишь предварительно связав себя зарокотом: самому у него ничего не покупать — ни при каких обстоятельствах. Точка. После чего общайся с Львом Григорьевичем в свое удовольствие.

Такого же рода удовольствие — оговоренное предварительным знанием "что почем" — испытываю я от игры отдельных исполнителей; божий дар с яичницей мне уже спутать не грозит, но не скармливать же яичницу свиньям только из принципа. Главное — помнить, что это всего лишь яичница. Было бы наивно полагать, что образец совершенства в ремесле, досконально тебе знакомом, может оставить тебя безразличным. Да-

же если бы речь шла о шитье сапог, этого бы не случилось, а тем более, когда речь идет о важнейшей отрасли романтической культуры, которой, чтоб там ни говорилось, ты вскормлен. К тому же нам присуща ностальгия по разным культурно-историческим нишам, футуристы и те тоскуют о своем первобытном рае — 10–20 годов. Эстетическое переживание возможно двух видов: в отрыве от этого ностальгического чувства — для меня во всей полноте это только музыкальное переживание, в меньшей степени и иначе прозаическое, а также Мандельштам — Бродский; либо возможно эстетическое гурманство: в строке, в пьесе, в картине — в любом культурном черепке обретать утраченное время. Рай минувших эпох. Культур, которых войны, революции не уничтожили, а лишь, по святому нашему убеждению, "остановили за своими плечами". И уж этот вид блаженства не знает в искусстве "люблю — не люблю", "нравится — не нравится", решительно все оценивается в контексте своего времени. Так вдруг оказывается прелестен тот же пошлейший стиль модерн — ради узора, лежащего на "бель-эпок", на этой золотой пенке убежавшего девятнадцатого столетия. Одна воспитанная на пианистической классике дама на мой вопрос о битлах — дело было "за коктейлем", под соответствующую музыку — ответила: — "Ну что ж, как деталь интерьера..."

Как деталь культурного интерьера эпохи я обожаю старые записи: Крейсера, Тибо... В их звукоизвлечении — павильоны из ажурного железа, мелькание усов и котелков; и не в самих салонных пьесах из репертуара венских кафе суть воскрешение атмосферы последних, но в крейслеровских аппликатурах, в неподражаемой неправильности штриха, в чудесах изящества, творимых явно же на крошечных отрезках смычка, в крейслеровских портамента — бессмертных как *bell époque*. (Это уж точно пятьдесят восьмая статья ойстраховского скрипичного кодекса — я не очень-то преувеличиваю, портамента — единственный инструментальный прием, удостоившийся *идейного* осуждения на страницах музыкального энциклопедического словаря. Интересно, что в скрипичной Москве моей поры /и раньше/ не было понятия "красивого звука" — красота звука методически необъяснима, а раз так, то само понятие это антинаучное, идеалистическое. Такого явления в природе не существует. И вообще не знаем этого слова. У главной скрипичной модели, поставленной Одессою Москве — у Ойстраха, звук был

— как бы точнее выразиться — “без свойств”, то же относится и к вибрации — несколько “объективной”; кстати сказать, Ойстрах не владел таким “волюнтаристским” штрихом как стакато.)

А кто слышал “Сицилиану” Парадиза в записи Тибо: чуть суетливую (как очень высокий человек бывает чуть сутул), и звук — с прононсом, тугой, вибрирующий мелким барашком; так полстолетия спустя будет вибрировать голос Пиаф.

Увлекаться пластинками Хейфеца — в России переписанными на пленку — я перестал страшно давно. “Пророк”, говорили о нем. И он им был — только экранизированным, в году пятидесятом, на студии “Парамаунт”. Но это неважно, родился я в будущем веке, я бы иначе воспринимал его откровения — в концертах Бруха, Конюса. Отсутствующий бесстрастно-скорбный взгляд — пришедший мне на память, когда я увидел снимок Набокова на обложке русской “Лолиты” — Хейфец имеет обыкновение, играя, отводить этот взгляд от публики вверх и налево. Черствость божества, наскучившего нами. Она провоцирует наше негодование, но, спровоцировав, вдруг прорывается таким выбросом крови, словно ты слышишь в ответ на свои пигмейские укоры: “Ее любил я — сорок тысяч братьев всем множеством своей любви со мною не уравнились бы”. Все это под “Гитару” Мошковского.

Однако Паганини — услышь я его — меня бы никаким китчем не испугал. Это было так давно, что уже снова — не китч, а стиль: когда, например, три знаменитых скрипача, Сивори, Алар и Леонар играли “Испанскую серенаду” последнего в переложении для трех скрипок, “Алар изображал влюбленного, Сивори — молодую девушку, а Леонар — благородного отца. Сивори со своими глассандо, выразительно сопровождаемыми влюбленными взглядами к Алару, вызывал всеобщий восторг”. Мастер по части глассандо, Сивори был любимым учеником Паганини, который, в свою очередь, играл в Праге (1828 г.) “Драматическую фантазию “Буря” в декорациях, с привлечением сценических эффектов”.

Я возвращаюсь к моему вопросу: как же он все-таки играл, этот Паганини, за которым молва числила тьму романтических грехов, на самых различных уровнях. На уровне агентства ОБС — сделку с дьяволом, на уровне журнала “Штерн” — и его братьев по всему миру во все времена — убийство из

ревности, причем логическим продолжением одиночной камеры была одна единственная оставленная ему струна на скрипке (Рахель Фарнхаген фон Энзе — берлинская Зинаида Гиппиус тех лет — с умным видом пишет: "Какова бы ни была его прошлая история, одно для меня ясно — он долго был обладателем скрипки с одной струной".) На академическом уровне говорили: "Секрет Паганини". Это звучало солидно. Паганини сам не отрицал, что владеет тайной — тот, кому он ее откроет, в считанные дни станет великим виртуозом. Два мнения возможны насчет действительной игры Паганини. Одно: этот итальянец — чей портрет русская проза давала уже однажды ("Он был высокого роста — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. /.../ Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком") — так вот, этот итальянец просто первый выдумал то, что сегодня делают многие, и делают гораздо лучше, чем он. Рекорды прошлого уже давно побиты, только по-прежнему легендой остаются имена первых рекордсменов. Их слава может даже пережить жанр — что случилось сплошь и рядом ("Perituris sonis non peritura gloria" — "Замолкнули звуки, но не замолкнет слава" — медаль, выбитая австрийским монархом в честь нового придворного скрипача). Что с того, что сегодня хорошие десятиклассники всюду шпарт концерт Паганини — великому гегуэзцу, как называют этого Колумба скрипки, принадлежит пальма первенства в миллионе вещей: он начал вибрировать каждый звук, он начал играть на память, он... (опустим этот миллион вещей — который профессионалам и так известен, а непрофессионалам напомним лишь, что Паганини был одаренным композитором, намного интересней своих братьев — виртуозов, сочинявших для своего инструмента сладкозвучные напевы). Какое счастье, однако, что при нем еще не было звукозаписывающего устройства — разочарование оставило бы далеко позади уже пережитое раз мною, когда, начитавшись у Мандельштама всяческих чудес о концертах Кубелика в Петербурге, я пошел в консерваторскую фонотеку и попросил там прокрутить его пластинку. В случае Па-

ганини это не звалось бы даже разочарованием. Это был бы скандал — и смех.

Это было одно мнение, теперь послушаем другое. В основе его принцип *золотого века*: самый первый всегда самый лучший. Кто никого не повторяет — хотя бы в силу этого уже неповторим. Вот почему прогресс в культуре — в отличие от тех сфер жизнедеятельности, где количество переходит в качество — невозможен. Иначе кульминационным пунктом в истории культуры стала бы массовая культура. Это нашло свое выражение и в игре на скрипке: общий профессиональный уровень подскочил до звезд, чем изрядно умножил их число; но со своей стороны "звезды" были уже не те ("конвергенция уровней" в силу новых социальных условий?). Ауэр, человек чуждый сентиментов, на склоне лет говорил о своем предшественнике в должности профессора и солиста императорских театров — что ничего, подобного Венявскому, он в своей жизни не слышал (а ему, учителю Хейфеца, Полякина, других, практически современных нам знаменитостей, да и самому, слава Богу, первоклассному скрипачу, было с чем сравнивать). Тем не менее об успехе Венявского говорилось и писалось в пристойной форме, тогда как те же самые слушатели, и среди них вполне квалифицированные, лишь двадцатью годами раньше теряли голову на концертах Паганини. Венявский уже был "в ряду" — вместе с Эрнстом, Иоахимом, Вьетаном, для которых Паганини оставался гений, дьявол — неподражаем. ("Венявский проник в сокровенные тайны магического искусства Паганини и благодаря этому сумел проложить пути, ведущие к реалистическому скрипичному исполнительству" /цитата из советской ученой книжки/; юному Анри Вьетану Паганини снисходительно пообещал, что он станет "большим человеком"; Генрих Эрнст одно время следовал за Паганини, кочевавшим из города в город — Гейне — в "Лютеции" — назовет Эрнста "возможно, величайшим скрипачем наших дней, подобным Паганини...", правда, больше мы не доверяем суждениям великих поэтов о скрипичной игре — но ведь как раз за склонность к преувеличениям, а не наоборот.)

Одного Паганини никому не уподобляли — ни в хуле, ни в хвале. И никто, самый восторженный поэт, так никогда ни о ком и не сказал: "Этот — превзошел Паганини". Если читатель пожелает отыскать приведенный нами отзыв Гейне об Эрнсте

— с нашей помощью это ему не составит никакого труда: Г. Гейне. Лютеция. Полное собрание сочинений, т. 9, стр 220 — то он обнаружит, что у нас цитата прервана. Гейне пишет: "...Подобным Паганини как своими недостатками, так и своей гениальностью". Паганини не только сводил с ума, но и вызывал жестокие нападки: дурной вкус, отсутствие культуры, дешевка (все вариации одного и того же), причем касалось это не самоподачи — разбойничьего вида, сценических эффектов и прочая; и не качества исполняемой им музыки (тогда у всех в программах творилось такое, такой "бидермайер" вперемешку с "Колокольчиком", что впору было с тоски удавиться); это касалось самой манеры играть: вибрато, спиккато, стаккато, портато — все было не так, и у известной части публики вызывало ощущение низкопробности. Собственно говоря, это обычный упрек новой эпохе. И он достаточно объективен: масса изысканных мелочей, как казалось, всегда определявших "классность", оказывается за бортом — взамен новой выразительности, в ее плебейском, широкодоступном понимании. Но проходит время, граница между великим и смешным вновь оказывается отодвинутой вглубь смешного, тогда как на заднем плане кристаллизуется следующее поколение изысканных мелочей и, естественно, своя аристократия вкуса — обреченная очередному вымиранию. Коль скоро же ничего похожего не случилось с Паганини, можно предположить, что это и вправду пик скрипичного исполнительства. После Паганини, вплоть до того времени, когда я уже учился, прослеживается четкая тенденция изживать дурной вкус, царивший в игре предшественников. Все психологически наоборот — словно время зашелкало назад: играть "по-старинке", "по-дедовски" не означает чего-то чопорного, скучного, академически косного, это означает играть вульгарно — носить более короткую юбку, нежели принято сегодня. Чем современной, тем суровой скрипичные нравы. Команда "полный назад!", последовавшая за смертью Паганини, имеет однозначное объяснение: Паганини положил предел скрипичности, далее либо наступал кризис жанра (скрипач двумя ногами проваливался в смешное), либо надобно было пятиться. И все инстинктивно попятись. До сих пор романтическое исполнительство выставлялось у меня патентованным злом. Это так и не так. Романтический виртуоз не самозванец, он — законная фигура в европейской культуре XIX века, и

ущерб музыкальному восприятию, нанесенный им, исторически оправдан. К тому же *так* нанести этот ущерб не под силу простому жонглеру, т.е. просто вышколенному хорошо ремесленнику. Да их тогда и не было, были отдельные полугении, которые в пределах романтического пейзажа творили себя как часть его; и только в этих пределах имели смысл — как садовая скульптура имеет смысл только за решеткой сада (или через два тысячелетия в археологическом музее). Великий виртуоз прошлого был бы неприемлем для наших дней своей подлинной — а не сконструированной в консерваторской шарашке и в десятки желтых ртов положенной — скрипичной гениальностью. Его уникальность не встречала бы поощрения, бережного обращения же и подавно, у сильных мира сего — как то бывало прежде. Зато неизбежные и даже уместные на почве скрипичного бесовства странности (*à la* Ставрогин) прощению никакому бы уж не подлежали, больше незаменимых нет нигде. Мне кажется, однако, я был свидетелем такого печального чуда — появления среди нас инновременного гения, чей оригинальнейший темперамент имел адекватное выражение как в скрипичной, так и в человеческой своей ипостасях.

Филипп Хиршхорн должен был родиться на полтора столетия раньше. Тогда бы в сознании своих современников, тех, кто давным-давно сделался прах (1805 — 1832; 1797 — 1845; 1779 — 1857), он был бы непогрешим — как артист, как образ... И таким бы дожил до наших дней, а затем пережил бы нас. То, что для большого художника когда-то считалось нормой, фактическим современникам Хиршхорна представлялось — в нем — смесью тяжелого характера, безумия, позы — не лишённой, впрочем, блеска. Иное истолкование получили бы в то время и порывы великодушия, и мрачная шаловливость этого молодого человека; равно как убийственный его сарказм не становился бы самоубийственным. Я даже не совсем о поведении в быту — романтик-артист не знает быта, его жизнь не раскладывается на биографию и творческое наследие (справа — слева). Но прежде, чем продолжить о Филиппе Хиршхорне, я хочу сказать, что нет ничего общего между ним и скрипачами, подававшими в детстве великие надежды, чье отрочество еще делало фантастические авансы, а затем что-то случалось — свершалась какая-то глупость, или ловко пару раз подсиживал соперник, или вдруг появлялся профессиональный флюс, перека-

шивавший недавнего вундерканда, скажем, в сторону "мелкой формы", от которой уже успели отказаться в пользу высоко-го искусства, а этот мальчик, ну буквально вот только еще про-славляемый всеми, так и не перестроился; либо какому-то вы-дающемуся подростку милей оказывалась рыбалка и уже при-обретенный статус "первого парня на деревне" — режима скри-пичного бойца в весе мировой знаменитости (как то обстояло с киевлянином Абрашей Штерном — моим двоюродным дядей, который, когда гостил в Ленинграде, устраивал такие домаш-ние концерты, развалившись на стуле, что, как говорили в его краях, "заколыхаешься"). В кругу лабухов имена тех, чьи кар-ьеры не состоялись, по-своему тоже были почитаемы. Каким-то шиком было сказать: "Коган же в подметки не годился Май-стеру", "Самуил Фурер — куда им всем до него", "Ойстраху по-везло, что Фишмана тогда не взяли в Бельгию, вот уж кто бы всех уделал" (Фишман, как и Ицхак Перельман игравший сидя, накануне отъезда советской делегации в Брюссель что-то, гово-рят, ляпнул). Самым знаменитым в теновом кабинете совет-ских скрипичных гениев был бесспорно Буся Гольдштейн. Ма-ленький Моцарт, маленький Паганини (то же, что Мамлакат в хлопководстве), а потом случилось как в кино, когда на роль взрослого Паганини и Моцарта приглашают другого артиста. Последние свои годы Гольдштейн прожил в Ганновере — как специально, в городе несостоявшейся скрипичной славы. Я имел возможность познакомиться с этим милейшим человеком — и умницей, между прочим, насколько это позволяла его уди-вительная верность своей первой роли: социалистического чу-до-ребенка на коленях у Отца (народов).

Но Хиршхорн — не из одной с ними банки и, в отличие от всех этих незадачливых детей своего времени, последнему был подоброшен. НФ в чистом виде: подкидыш во времени — иной даже по составу крови; один его дед, некто Легкер, был тради-ционный немецкий "гейгелерер" из Лемберга, другой — армя-нин, не обошлось, конечно, без нашего брата еврея — по линии отца, кажется; слышал я и о цыганах, и о венграх — не знаю только, оставил ли славянин в нем свой ген. Я бы, конечно, мог все узнать наверняка, сняв трубку и обзвонив несколько человек из числа его друзей — или вроде того — разбросанных по Западной Европе, но тогда бы легенда была разжалована в справку. Я же пишу о Филиппе Хиршхорне, каким он мне ви-

делся, когда я, школьник, издали наблюдал за ним — тоже школьником, четверть века назад.

Впервые я узнал о нем от моего кузена. Вернувшись из Риги, куда с товарищеским концертом ездило несколько наших десятилетних талантов (концертные обмены между музыкальными десятилетками не часто, но бывали), кузен еще долго потом вспоминал два имени, которые порознь им никогда не назывались: Феликс-и-Гидон. В конце концов это уже звучало приблизительно как "Турн-и-Таксис" — хотя я, опять же со слов кузена, знал, что Турн — скрипач получше, "правда, и у того в левой руке все хлячет". "Что — он лучше тебя?" И неожиданно я услышал: "Лучше". "А Спивакова?" (Тогда номером первым в школе был Спиваков, вторым считался мой кузен — но поскольку он был и младше на класс, тщеславие с этим мирилось.) "Лучше. Куда Спивакевичу. Это конец света. Никто так не играет. Паганини, может быть, так играл".

Позднее Спиваков, к тому времени ставший москвичем, и сам в таком же роде примерно отозвался о Филиппе Хиршхорне. "Мне до него как до Луны", сказал он — не знаю, насколько искренне: рядом стояла очаровательная мадам Гиршович — двадцати лет, а всем было известно, что уж Спивакова-то Господь точно талантом не обделил. Сам Хиршхорн взора бы, однако, "не потупил", заведи при нем кто-то разговор о Спивакове. Помню, как он прокомментировал переливчато-серый костюм, умопомрачение тех лет, привезенный Спиваковым с конкурса Тибо, вместе с третьей премией — Спиваков плыл в нем длинношеим лебедем по улице Герцена: "Блестит как бараньи яйца".

Хиршхорн бывал резок и дерзок, рискну сказать, по-пушкински дерзок (так же и играл потому что), но в этом не было ни на йоту хамства. Хотя скорее уж хамство и жлобство, по-человечески понятные, простили бы Хиршхорну — тот же Леонид Борисович Коган, когда ездил в Геную, на конкурс Паганини: пасти нашу компактную сборную. Не без злорадства вижу я, как там, в капстране, совершенно беспомощному, ковырял "этот соплик" Леониду Борисовичу его язву желудка.

Внешность Хиршхорна, она — важна, она не бесплатное приложение к игре, как это стало в наше строгое время: кому придет в голову сегодня открывать рецензию на выступление А.-С.Муттер восторгами по поводу ее хорошенькой внешности

(в духе офицерского казино 1942 г. — zwischen uns). Поклонники же и поклонницы Паганини без тени смущения корреспондируют своим друзьям во все концы света: "Мало его слышать — нужно его видеть". (К слову: если в "Египетских ночах" импровизатор был "росту высокого", то в московском "Атенеи" (1828 г.), в "Письмах из Дрездена" К.Ф.Г. (князя Федора Голицына) говорится о Паганини, что он был "среднего роста", а дальше как в зеркале: и худошав, и черные кудри, и огненные глаза. Между прочим, высокий рост, но, правда, при пропорциональном сложении: косой сажени в плечах и проч. — а не худобе — неблагоприятен для игры на скрипке: не надо меня опровергать именами, я и сам могу назвать парочку, вроде Юлиана Ситковецкого — это не меняет общей картины. Кажется, что в руках подобного атлета миниатюрная ученическая трехчетвертушка. И, непостижимым образом, не только зрительно, так же и на слух — такой, как правило у нее звук, слабенький и куцый, верней, не у нее, конечно, а у этого самого дяди Степы. Почему — загадка природы. Могучие плечи и приличествующий сему рост действительно могут нормальную голову превратить в булавочную — но ведь только же оптически, а никак не мысли, заключенные в ней. Или?) Однажды в "предбанничке" медпункта я увидел двух "новеньких", с независимым видом скрестивших на голых животах локти. Они были старше меня, хотя возрастного шика были лишены — по сравнению с кузеном и его стилижной компанией. Тем не менее я оценил, что черные стяги (тогда в моих глазах символ моего отечества — "семейные трусы") у них заменены неким подобием плавок. Рижане... (Ленинград в принципе самодостаточно, и если смотрит на кого без пренебрежения, то на Ригу, Таллин — последнюю за границу, а что Москва — дура, "большая деревня") Я знал, что это и были "Фелик-и-Гидон". Из первого щепками торчали наружу ключицы и тазовые кости (нет смысла распространяться о наружности второго, она уже давно достояние пластиночных конвертов и телепрограмм — а Гидон Кремер с тех пор отнюдь не похоронен). Но даже в костюме Адама, не очень-то ему рекомендованном, Хиршхорн добирал пластичностью, может, чуть обезьяньей. А так — в простой магазинной одежде, с крошечной примесью чего-то "польско-венгерского", Хиршхорн выглядел вполне элегантно; был из тех, на ком вещи сидят. Был он "среднего роста, худошав",

строен. Носил стрижку "современного молодого человека начала шестидесятых", идеальную для его пружинистых волос — естественно, черных. Память даже воссоздавала его жгучим брюнетом, что было верно скорее типологически. Так же и глаза (неимоверной желто-карей густоты — отдающей хорошей преисподней) хотелось запомнить почему-то серыми. Память безо всякой на то причины сбивалась на Алена Делона: правда, оба были красавчики. Но только взгляд хиршхорновских глаз был тверд как палка. Маниакален как Гумберт Гумберт. И фальшив — потому что не лгала бы только зияющая пустота. При виде этих глаз, в упор на тебя наставленных, не знаешь: то ли природа тебя дурачит, то ли не они здесь зеркало души. Зато веришь жесткой усмешке на лице с отменно мужественным подбородком — не тонкой, "вольтеровской", отличавшей Паганини, а "швабринской". И никаких тебе носов-горбунков, нос строителя коммунизма.

Он словно постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Из стремления скрыть это возник — убежден, что во всем ему подконтрольный — неповторимый хиршхорновский тип поведения, который другому бы ни за что не дался: мрачные шуточки — привезенные из не по-русски озлобленной Латвии, но в испарении невских болот набравшиеся столичного лоску; насмешка как норма выражения лица; способность изображать внимание, нанизывая говорящего на свой пронзительно-невидящий взгляд — все это было бы пошлым фарсом в ином исполнении, тогда как Хиршхорна, при его невероятной скрипичной игре, делало центром всеобщего притяжения. "Хирш... Хирш... Хирш..." — шурило по всей школе, потом по консерватории. В третьем лице его так звали — по фамилии, привычно усеченной до клички. Обращались же: "Фелик". Эта уменьшительность ему не шла. С помощью "Фелика" его пытались превратить в своего, к тому же от "Фелика" один шаг до некогда модного "Феликса". А Филипп, сорок шестого года рождения — это было отверженное имя, это не "Филипок" — середины семидесятых. Лично мне нравилось звать его Филиппом, другое дело, сколько я с ним общался — считанные разы. Как-то на школьном капустнике Хиршхорн изображал Фиделя Кастро. Тряся накладной бородой и жестикулируя как мельница, он произносил речь на "испанском" — от которого зал лежал. Затем юным пионером в коротких штанишках выбежал на эст-

раду я, уже с волосатыми ногами, толстый... новый взрыв хохота... и в идиотическом восторге повязывал ему красный галстук. Хиршхорн загребал меня в свои объятия, я вприпрыжку убежал, овация. В этом не было целенаправленной антисоветчины. Как не было космополитической диверсии против русской культуры в "Мини-песне": "Ты постой, постой, красавица моя, дай". (Авторство — Хиршхорн и компания. Попутно: с противоположным полом — никаких проблем. И не только у него. По крайней мере, никаких моральных проблем. Нормальные физиологические отправления — хуже с гигиеной. Позднее влюблялись. Это целомудренному Западу потребовалась сексуальная революция.) В моем представлении — четырнадцатипятинадцатилетнего школьника — Хиршхорн первым ввел в обиход "новейший" род юмора. Сей заковыченный идиотизм, если определять покороче, повсеместно вытеснявший традиционное остроумие, тогда еще не набил оскомину — как сегодня, после тридцати лет респектабельного существования, в том числе и под маркой "театра абсурда". "Абстрактные" анекдоты звучали свежо — глядя на Хиршхорна, я думал, что он сам придумывал этих летящих в Вышний Волочек крокодилов; обычно, правда, бывало что-нибудь погрязней и пожестче — в соответствии со школьной моралью, здесь отягощенной бытом советских интернатов. Например, можно было сказать стальным голосом, указывая тете Зое на порцию "рыбы под маринадом": "Пожалуйста, детское плечико в томате". Сам шутивший сухо и зло, Хиршхорн зато звонко, до слез хохотал над чужими остротами, даже не всегда удачными. Поощрял, что ли, своих эпигонов? Убеждал в чем-то себя самого? Тогда как раз меняхватило на первую сотню страниц "Доктора Фаустуса", где описан смех юного Адри — точь-в-точь Хиршхорновский. Но при том, что именно в те годы я чувствовал себя разновидностью Серенуса Цейтблома (путь и напрасно — какой же из меня упорядоченный немец!), подобный смех — будь то в книге, будь то в коридоре — казался мне, ну, совершенно ненатуральным. Словно оба, и Хиршхорн и Томас Манн, споткнулись на одном и том же. Равно как ненатуральным показалось мне и некое "признание" Хиршхорна — когда случай, в нарушение моего психологического комфорта, при каких-то там обстоятельствах устроил нам кратковременный тет-а-тет, в продолжении которого я почтительно молчал, только смотрел

на этого всеобщего кумира, на этого Адониса — отчего ему, как человеку светскому, пришлось самому что-то говорить. Что странно, он вдруг довольно неловко принялся рассказывать о своем "огнепоклонстве" — замороженности своей видом пламени. Его глаза расширились, неподвижно воззрились в пустоту, но не погасли, наоборот — еще сильнее засверкали. Я это счел театром — без осуждения, разумеется; таких как Хиршхорн не судят. (Подумаешь, для всех огонь более или менее притягателен. Кто в детстве не сидел перед открытой дверцей печки, не отрывая взгляда от чешуйчато-сизых головешек, составлявших невероятные ландшафты и дворцы.) Наверное, столкнувшись в моем лице с робким, а не амикошонствующим почитателем — последние пытаются быть с ним "по корешам" — Хиршхорн не нашел ничего лучше, как "серьезно" обосновать одну свою безумную выходку — о которой, естественно, я не мог не знать. Когда-то его выгнали из московской ЦМШ за поджог — возможно, это был всего лишь разведенный в классе костер. Я слышал разные версии, неизменяемой деталью оставался лишь горючий материал: содранные с клавиатуры костяшки — видно, уж очень хотелось посмотреть, как они горят. Обыкновенная школьная шалость, просто шалуна занесло. Еще нет никаких причин представляться Нероном. Так, по крайней мере, казалось тогда моему инфантильно-примерному благоразумию.

В другой — аналогичный — раз я оказался находчивей: высказал свой восторг ему касательно его интонации — действительно безотказной; тем не менее это был немножко незнайкин комплимент (почти как если б прислуга восхищалась баринном-литератором: наш-то здорово пишет, как шибко у него перышко бегаёт, видал?) — чего говорить, я очень смутился.

"Я не играю чище других, но у меня реакция — успеваю исправить".

Ответ только на первых порах напоминает классический — гения профану: хорошо играть очень просто, в нужное время надобно нажимать нужную клавишу. На самом деле это пример четкого самоанализа, только речь идет о корректировке движений на стадии их импульсов.

Вероятно, читателю это непонятно, а, главное, ненужно. Я чувствую, прежде чем вспоминать анекдоты о "каком-то Хиршхорне", необходимо удостоверить его право на эту привилегию

— сообщив что-то о его игре. Но что? ”Об этом невозможно рассказать словами” — было написано людьми, не чета мне: на перьях мозоли от повседневного лихого рецензирования — на другой день после венского дебюта Паганини. Хиршхорн во время игры представлял собой НЛЮ — вокруг него собиралось поле. Попытавшиеся бы приблизиться самолеты рассыпались. Вспомним, как это выглядит в американских фильмах, где летающие тарелки приземляются на проселочной дороге — подобные чувства внушал Хиршхорн нам, юным братьям по профессии. И не только юным. Почетному гостю Ленинградской консерватории Шерингу скрипичная кафедра представляет свои достижения: одну опрятную смирененькую студентку и Филиппа Хиршхорна. Малый, Глазуновский зал переполнен студентами — консерватории, обоих училищ и десятилетскими; Шеринг бесконечно знаменит и по слухам будет давать открытый урок. Он сидит в окружении нашей провинциальной профессуры, концы пальцев по-заграничному сведены на уровне подбородка; спина прямее, чем у манекена в портняжной мастерской на старой Маршалковской (вход со двора); на лице — королевская любезность. Хенрик Шеринг, о котором я неоднократно слышал, что он в жизни милый человек, на публике всегда малость переигрывал — а уж подавно он держит фасон (и спину) с москалями. На втором такте Хиршхорн ”сбил надменность гордому шляхетству”. Он играл первый каприс Паганини и соль-минорную фугу — жаль, он не сыграл тогда ”Лесного царя” — вещь, в которой особенно отличался. Его обычная усмешка, холодная, но веселая — фокусника при виде произведенного им эффекта, сменялась зловещей. Не на лице — в звуках. И это, поверьте, не просто литературный пируэт. Что-то в шубертовском (эрнстовском) ”Эрлькениге” было одной с ним крови. Как нигде, в этой пьесе он — *самовыражался*. (А не Маугли ли он наоборот? ”Das Kind war tot”, — многозначительно говорил Хиршхорн по-немецки). Когда он играл, колодку как граблями захватывали разом четыре пальца — между собою едва ли различимых. И подавно четыре указательных пальца было у него на левой руке: одинаково трепетавших суздами в вибрации, одинаково разработанных — настоящие анатомическое четырехголосие. Только морщинистую подушечку на безымянном прорезает глубокий шрам — в детстве чуть не остался без фаланги. А если б остался? Глядишь, нашел бы

более счастливое приложение своей гениальности — убежден, сказавшейся бы с равной силой на любом поприще.

Слушая соль-минорную фугу, Шеринг обмяк: спина согнулась, шея вытянулась под кривым углом. От монаршего вида не осталось и следа, словно знаменитого скрипача кто-то облизнул. Только Хиршхорн кончил, Шеринг побежал на эстраду — давать обещанный молвою "открытый урок". Подтверждалось старинное правило: чем меньше в твоих советах нужды, тем охотнее их даешь. Наверное, студентке, выступившей до Хиршхорна, замечания Шеринга скорее быгодились.

Боже избави меня утверждать, что рядом с Хиршхорном все, и самые именитые скрипачи, были щенками; что Хиршхорн *играл* лучше их. Но за его игрой стояло нечто принципиально *иное*. Обособленность — в любую сторону — имеет своим следствием неприкаянность. Хиршхорн был лишен поддержки себе подобных за отсутствием таковых. В противном случае он бы не был Хиршхорном. (Младший Ойстрах — сладколицый, чему способствует наследственный неправильный прикус, еще только начавший добреть, страшно не любивший ссылки на авторитет "Давид-Федоровича" — он впервые продемонстрировал мне, что значит *мафия уровня*. Заметив раз афишу Гутникова на улице, я подумал — ни с того, ни с сего: вот на чей концерт Игорь точно не пойдет. Если б приехал Шеринг — другое дело... /Наивный человек: с Гутниковым после концерта можно поужинать, потрепаться, а с Шерингом — в лучшем случае поужинать./ Спустя несколько дней в разговоре выясняется, что Игорь не любит Шеринга. Куда интересней Гутников, которого он как раз вчера слушал.)

В 1965 г. летом Хиршхорн официально преуспел, пройдя в Москве, в компании каких-то заурядных скрипичных карьеристов, отбор на конкурс в Генуе. В это жаркое, обметанное тополиным пухом время я держал вступительные экзамены в консерваторию. Моя мать, приехавшая как раз меня побаловать и морально поддержать (мне было только шестнадцать), какие-то сутки опекала и юного Хиршхорна, совершенно одинокого во вражеской Москве. Мы втроем пообедали в ресторане "Москва", и он даже почему-то ночевал с нами в одной квартире, снятой на несколько дней в частном порядке. На самом конкурсе Хиршхорн оказался вторым. Главным победителем вышел Виктор Пикайзен, 34-летний дядя, в обход общесоюзного

прослушивания посланный за первой премией. Все было по справедливости: для Пикайзена, коренного ойстраховского ученика, привозившего всегда "серебро", это был последний шанс стать лауреатом 1-й премии, а Хиршхорн — мальчишка, успеет еще себе набрать первых. Разве не честно? Но бессовестный Хиршхорн, видимо, считал, что нечестно, а главное, наглец! этого не скрывал. Вообще-то говоря, по его органической неспособности блюсти политес — назовем это так — легко предположить, сколько дров он в своей жизни нарубал. Есть такая категория людей: нутром не приемлют брак по расчету. Даже по благому. Даже вопреки собственному желанию, продиктованному уже горьким жизненным опытом — который суммируется, обычно, в словах: дурак ты, дурак, всю свою жизнь сам себе все портил. Поэтому запоздалые попытки "взяться за ум", начать новую жизнь тут бесполезны. Как я уже говорил, Хиршхорну следовало родиться странствующим рыцарем скрипки: герцогини отнесли бы к нему иначе, чем министерские крысы. В эпоху романтизма и бдений со свечою над Гофманом причуды великих артистов чтились. Что ж, комитетчики "по делам искусств" могли бы предложить свой текст на медали — в честь скрипача Хиршхорна: "Умолкнет слава, но не умолкнут звуки".

Соблазнительно просто, однако, было бы представить Хиршхорна жертвою чьих-то происков, шире — жестокой эпохи... К слову: жестокости в определенном смысле ему было тоже не занимать; и то великодушие, о котором я обмолвился — артистический императив, не моральный. Я не знаю, кто еще умел так, парой слов, уничтожить человека — притом он довольно широко пользовался этим умением (счастье, что Хиршхорн не стал дирижером — "главным"; вознесенный над сотней оркестрантов, уж он бы им показал — во славу искусства). При мне он раз или два измывался над бедным Гидоном Кремером. Это было на той стадии "близнечного мифа", когда соперничество окончательно вытесняет былую дружбу: Кремер вернулся обратно в Ригу, чтобы уже оттуда перебраться в Москву, метрополию, к Ойстраху в класс; Хиршхорн хранил верность их, видимо, первоначально совместным упованиям на "ленинградскую культуру" — которую рижане почитали еще по традиции ("Петербургас Ависес"). Самолюбивый Гидон был беззащитен перед насмешками Хиршхорна, подкреплявшимися колоссаль-

ным скрипичным превосходством последнего; сам Гидон мог заявить о себе о ту пору изрядной техникой свихнувшегося на скрипке школьника да скрипучим звучком. Он сидел на койке в общежитии (на Малой Грузинской), приоткрыв свой знаменитый рот — словно глотал летевшие в него издевательства (карнавальный вариант кролика и удава), будучи доведен до такой степени унижения, что уже не смущался присутствием посторонних. А ведь это была, как говорится, лишь верхушка айсберга. Что бесило Хиршхорна в Кремере, тогда еще слабым сопернике? Наличие политеса? Отсутствие таланта (по его мнению — или по сравнению с ним)? Расчет компенсировать одно другим? (Опять же, по сравнению с ним — вот и в Москву подался.) Гидон, повторяю, самолюбивый, комплексующий не только перед Хиршхорном, но и на многих других фронтах, при этом претендующий на недюжинность, в которой ему отказывал "Хирш", ибо в ней было что-то кулибинское — Гидон пытался взять умом (через ж..., как сказал бы Филипп) то, что Хиршхорну по праву любимчика небес было спущено на ниточке. Упорство в желании прыгнуть выше головы, когда оно сопровождается йоговой концентрацией воли, может увенчаться успехом. Тому пример — Гидон Кремер, скрипач с мировым именем, эстет пополам с юродивым, сумевший даже из своей внешности сделать аттракцию.

Брать реванш у Хиршхорна — нелегкая задача. Правда, благодарная, в случае успеха. Своей карьерой, мне кажется, Кремер обязан прежде всего обостренному чувству реванша. Если так, то даже когда пути соперников разошлись по вертикали, Кремер еще долго должен был сражаться с призраком Хиршхорна. И если когда-нибудь, руководствуясь, на непредвзятый взгляд, каренинским великодушием, он и протянет Хиршхорну руку — по-братски, богатый брат бедному — то не ради рукопожатия, а с копеечкой.

Кульминационный пункт в жизни Хиршхорна-скрипача — конкурс в Брюсселе. Этот конкурс, носящий имя Бельгийской королевы (прежде конкурс имени Изай), с самого начала был скрипичной ВДНХ, только за рубежом. Советская скрипичная школа еще с тридцатых годов устраивала там парад-алле. Оба ее флага — и Ойстрах, и Коган — начинали с того, что привозили из Брюсселя первую премию. Хиршхорн привез эту премию двадцати одного года отроду — Гидон Кремер на тех же

скрипичных состязаниях (1967 г.) был третьим. Дальше с Филиппом стало происходить нечто странное. На концерте в Большом зале Филармонии он опускает скрипку посреди первого каприса Паганини: заел нехитрый — для него раз плюнуть — пассаж терциями. С кем не бывает, понятно, но вместо того, чтобы, наподобие оступившегося фигуриста, вскочить и продолжить танец ("будто так и надо было"), он уходит с эстрады. Да, провожаемый влюбленной овацией зала, перед которым к тому же еще постоял несколько секунд с гордо поднятой головой — вылитый карбонарий в момент казни. К счастью, это был уже бис. Как курьез, как нетривиальный поступок того, кто нетривиален с ног до головы, сохранилось бы это в моей памяти, но тогда же, примерно, Хиршхорн стал разительно хуже играть. Я не слушал его регулярно — впрочем, регулярно он и не выступал. А вскоре совсем уехал, назад в Ригу, разругавшись со своим профессором — Михаилом Вайманом, в свое время на "Королеве Елизавете" взявшем лишь вторую премию (пустячок, конечно...). Возвращение в Ригу — не шаг, знаменующий выход в большой свет, тем не менее только психологически оно могло расцениваться как отступление к разбитому корыту. Представлять скрипичный Ленинград — совершенно бесперспективное занятие (Гидон почувствовал это сразу). И коли в Москву хода нет, коли она затаила злобу на своего маленького поджигателя, то благоразумней уж положиться на толкачей из республиканского министерства. Другое дело, благоразумие Хиршхорна — товар слишком дефицитный, чтобы Рига принесла ему что-нибудь помимо разочарований. Но я сейчас не об этом. Чиновники могут не давать скрипачу играть, но не давать ему хорошо играть они не могут — верно, с годами отсутствие аудитории, или, точнее сказать, "правильной" аудитории подрывает что-то в исполнителе, воспользуюсь штампом: подрезает крылья. Но кризис, охвативший Хиршхорна, ничего общего не имеет с деградацией Буси Гольдшейна, которого десятилетиями морили публикой, лузгающей на концертах семечки. Допустим, что кто-то, совершенно изумительной красоты, заметно подурнел. Ничего в нем не переменялось: черты, повадка — все прежнее, но как раз они, до сих пор составлявшие главное очарование этого человека, теперь режут глаз. В игре Хиршхорна, когда я его услышал снова — уже в Дзинтари, все, что раньше приводило в восхищение, теперь мешало. Имен-

но те же самые качества. "Всякое явление переходит в свою противоположность" — учили нас в кабинетах марксизма-ленинизма (если вдуматься, то весьма вредительно). Но, очевидно, прежде, чем перейти в свою противоположность, сказанное явление должно исчерпать себя в своей позитивной ипостаси —

Всю полноту совершенства испытав.

В более изящной форме эта диалектика выражена знаменитым — а чьим, не знаю — афоризмом (француза какого-нибудь): наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Если читатель помнит, то в пользу абсолютной скрипичной гениальности Паганини говорит, по одной нашей версии, столько же его превосходство над наиболее прославленными предшественниками (и их эпигонами — его современниками), сколько и отсутствие в дальнейшем попыток оспорить его славу, затмив ее — свою. Пределом самых восторженных мечтаний было уподобиться ему. Таким образом, по обе стороны скрипичной эры, именуемой Паганини, склон. Продолжаю свою мысль. Культурное чудо это всегда рекорд, и потому любой шедевр — на грани срыва. Желание еще и еще подтянуть этот нерв диктуется страхом, что нерв растягивается: не подкрутишь колок, и начнет провисать. Индивидуальный предел совершенства у Паганини совпал с объективным пределом возможностей что-то прибавить к уже достигнутому им — даже не в плане техническом: "все выше и выше и выше...", а потому что жанр виртуозного музицирования оказался беден художественными задачами (изобилует он лишь своими претензиями). Итак, для Паганини это счастливое совпадение — которого могло, однако, и не быть. Тогда бы ему на смену пришли очередные великие реформаторы скрипки — отвергавшие его Иоахим, Эрнст, Венявский и Вьетан. Если бы еще при этом творческие ресурсы Паганини были исчерпаны, а жизненные нет, мы бы имели в его лице классический пример ретрограда — такого Пушкина по завершении пятнадцатого тома исторической эпопеи о Петре, ужасающегося какими-то там новомодными "Преступлениями" и "Наказаниями". Поэтому не будем чересчур сокрушаться о безвременно покидавших нас гениях: во множестве случаев это могла быть эвтаназия — убийство из человеколюбия.

Хиршхорн пустился по чужим скрипичным следам столь стремительно, словно путь ему уже был знаком. Пятнадцати-

летний капитан... пожалуй, что нет, в пятнадцать он уже был адмирал. Сакраментальный вопрос, что делать. Почти ребенок, он уже у последней границы. Теперь предстояло либо умереть — !120 טו ! לילה ספ — либо перелиться через грань, попасть в наступающее за ней зазеркалье, где правое — слева, хорошее — дурно, слабость — это сила; съехать на другой конец диалектики, где уже вечный Орвелл. По-видимому, это и было судьбою Хиршхорна.

Но в одном отношении переезд в Ригу сослужил ему добрую службу. Родина самолетного дела (с самолетостроением, с ГВФ, надеюсь, ни у кого не свяжется), к тому же очаг всяческого космополитизма, не только еврейского — Рига была охвачена выездной лихорадкой. Москве, Ленинграду, Украине она еще только предстояла — как и спасительный хинин в виде белых конвертиков с вызовами — а рижан и виленчан уже всю трясли в Чопе. А надо сказать, что — в отличие от взглядов на искусство, на будущее исполнительства, на прошлое как объект художественного переживания, на композитора Вентейля (понимай, Франка), на художника Эльстира (не смешивать с Коро) — взгляд на выезд из СССР у меня прост как "Правда": на постоянное жительство в государство Израиль, на вечное поселение на Аляску — бежать! Это аксиома. В первую же щель, не боясь прослыть крысой, без различия возраста, пола, национальной принадлежности — бежать! Это единственное, когда сперва делать, а потом думать. Тогда максимум, чем ты рискуешь — не взять с собою зонтик.

Прошу прощения, я отвлекся, хуже — сбился на язык Жванецкого, другого широкий читатель не понимает, а я в этот миг адресовался исключительно к нему — тема такая. Хиршхорна унесло в общем эмигрантском потоке. Это был отъезд третьим классом и соответствующим же классом приезд, вперемишку с кем попало — барахольщиками, мелким итеэром, трудящимися из других цехов. (Разве можно сравнить с тем, как уехал Кремер — по индивидуальному заказу, даже не столько уехал, сколько приехал. А все же — касательно Хиршхорна и Кремера, тех двух подростков, которых я впервые увидел ожидавших медосмотра — второй так и остался вторым. Это не эмоциональное заявление, это логически вытекает из того, что в данном тексте может быть отнесено к "мессиджу". Если признать мою правоту и не очень умирать по славе у

репортеров и дам, то скрипичное крушение Хиршхорна в масштабах истинной культуры — явление неизмеримо более высокого порядка, чем кремеровские фестивали, пластинки и другие виды культурного надувательства.)

О жизни Хиршхорна на Западе до меня доходили мало-вразумительные слухи, все больше апокриф. Как в Израиле, например, на призывном пункте он потребовал гарантий, что будет похоронен на еврейском кладбище — и, не получив, в гнев уехал в Бельгию. Рассказывали о том, что королева, якобы, пригласила к себе советского посла и попросила о личном одолжении: в Ленинграде проживает одна художница, нельзя ли отпустить ее сюда — так через три дня Хиршхорн уже встречал свою будущую жену. Говорилось и о том, что он стал толстым, его теперь не узнать; он живет на ферме, разводит себе мирно гусей, одного из которых между прочим, зовут Гуся Большштейн.

Год назад по справочному я узнал телефон Хиршхорна в Брюсселе, полагая — как выяснилось, справедливо — что гусей он все же не пасет. Я позвонил, назвался, сказал, что буду в Брюсселе и напросился в гости. И здесь, пожалуй, поставим точку. До этого момента Хиршхорн оставался для меня легендой, переживанием детства — в этой легенде я не хочу ничего менять.



Зиновий Зиник

ДВУАЗЫКОЕ МЕНЬШИНСТВО

Доклад на Международной конференции по литературе

Lissbon, May 1988

Как благодарный гость Португалии, я воспользуюсь давно заезженным риторическим приемом и расскажу местную легенду — из португальского фольклора. Ее можно найти в любом приличном путеводителе, и мое единственное оправдание в том, что по-русски она мало кому известна. Это — легенда о петухе, чей образ, запечатленный в металле, дереве и фарфоре продается на каждом шагу, в любой сувенирной лавке Португалии. Его история — это история пилигрима, на пути к святым местам ложно обвиненного в краже.

Согласно легенде, пилигрим не мог привести достаточно веских доказательств своей невиновности. Местный судья был непреклонен, и пилигрима приговорили к смертной казни через повешенье. Пилигрим в отчаянии воззвал к Богу и объявил во всеуслышанье, что в доказательство его невиновности жареный петух на обеденном блюде перед судьей оживет и закукарекает. И чудо произошло. Пораженный судья не только отпустил на волю пилигрима, но и воздвиг петуху памятник.

Эта легенда — если и не сознательная пародия, — несомненно рифмуется с библейской конфронтацией между Моисеем и Фараоном, когда Моисей, действующий заодно с Богом, превращает фараонов жезл в змею. В обоих случаях речь идет о спасении, и в обоих случаях оно даруется через чудо превращения одного предмета в другой — как доказательство высшей правоты и Божественного промысла. Разница, однако, очевидна. Сразу следует отметить, что в португальской легенде памятник был воздвигнут не судье, не пилигриму, а главному персонажу сотворенного у всех на глазах чуда — петуху. Можно ли себе представить, что египетский фараон, после истории с Моисеем,

воздвигнет памятник жезлу, превращенному в змею? Это несерьезно. С евреями или без, египетские фараоны продолжали строить свои пирамиды. Потому что в истории с Моисеем речь идет об исходе из Египта, о спасении целой нации, о конфронтации культур и религий. В то время как португальская легенда — это апофеоз личного спасения, пример того, с какой чудесной легкостью можно отличить вора от честного бродяги: пилигрим, следующий в жизни своему предназначению, может по ходу дела мертвого петуха превратить в живого, из объедков и костей сотворить кричащую птицу.

Разница между моисеевым чудом и португальским петухом — это разница между религией и литературой; точнее, между различными отношениями к литературе и ее целям: как к паломничеству пилигрима, ложно обвиняемого в бродяжничестве и воровстве, — или как к избраннической миссии по спасению человечества из египетского рабства.



Недавно я натолкнулся на эссе британского писателя Салмана Рашиди в юбилейном "орвелловском" выпуске альманаха "Гранта" за 1984 год. Рашиди подверг Орвелла убийственной критике за эссе "В чреве китовом", где Орвелл высказал предположение (в связи с прозой Генри Миллера об эмигрантском Париже) о наступлении новой эры в литературе: аполитичной, утробной, как из чрева китова, точки зрения писателя на происходящее, когда аполитичность — единственное достойное писателя мировоззрение в атмосфере манипулирования такими понятиями, как общественный долг, совесть и соучастие. Салман Рашиди обвинил Орвелла в мелкобуржуазном эскапизме, в социальном пессимизме туберкулезника и призвал своих современников к штыку приравнять перо. Салман Рашиди по вполне понятным причинам тоскует по той интеллектуальной атмосфере, где литература играет серьезную общественную роль, где положение писателя не сводится к номеру в списке бестселлеров. Салман Рашиди пытается поднять литературу на общественно-политический пьедестал, предъявляя требования не столько к литературе, сколько к самим писателям: призывая писателей не только сочинять романы на общественно-политические темы, но и самим лично определить общественно-политически, занять ясную партийную позицию на идеологическом фронте.

Этот призыв — настоящая анафема для всех тех, кто испытал на собственной шкуре, что значит тотальная идеологизация литературы, о которой интуитивно догадывался Орвелл, о которой и говорил в своем эссе "В чреве китовом". Ведь само название орвелловского эссе подразумевает историю библейского Ионы, который оказался в чреве китовом в результате того, что воспротивился идеологическим указаниям Бога и отказался пророчествовать о падении Вавилонской империи. События последних двух лет позволяют надеяться на то, что

русско-советская литература склоняется к роли, предсказанной Орвеллом, а не к той, которую отстаивает Рашид.

"Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон". Так 20 лет назад высказался герой повествования Венедикта Ерофеева. Роман "Москва-Петушки" своим названием в непреднамеренном каламбуре неожиданно соединяет тему русской литературы и португальского петуха. "Поэма" Ерофеева — это монолог алкоголика, пилигрима в своем роде: герой постоянно предпринимает попытку совершить паломничество на Красную площадь, но каждый раз попадает на Курский вокзал. В ходе своего путешествия а ля Радищев из Москвы в Петушки и обратно, он, как будто предвидя нынешние трудности с алкоголем среди советского населения, излагает нам рецепты чудовищных коктейлей, где тошнота похмелья замешана на макабре ежедневного выживания в ситуации, когда даже у бутылки водки есть не только физическая, но и мистическая сторона, более того — есть и сторона политическая.

Книга эта, в эпоху самиздата циркулировавшая в рукописи, давно разошлась на цитаты, вошла в разговорный язык, породила целое литературное направление, переведена на несколько европейских языков. Почему же издание ерофеевской "поэмы" на родном языке даже в эмиграции натолкнулось, в свое время, на непреодолимые трудности? Неприятие книги советским истеблишментом понять не трудно. У Ерофеева той поры и его нынешних последователей налицо, кроме всего прочего, явные нарушения классических табу советской литературы той эпохи, например, передразнивание, издевательство над совестко-партийной феней — в традициях старшего поколения пародистов и абсурдистов, из тех, кто быстро разочаровался в просветительской антисталинской оттепели и перешел на "придурочную" интонацию простачка из народа.

У каждой эпохи свои придурки. Классический для советской литературы герой-интеллигент отправился в литературную ссылку и возвращался лишь время от времени, чтобы играть роль пугала. Этот герой дискредитировал себя на многие годы потому, что именно интеллигенция, с ее идеализмом, горячими спорами о будущем человечества и психологическими пересудами, стояла у колыбели революционной идеологии, и именно интеллигенция отшлифовала самоубийственную стерильность писательского пера, приравнивая его к штыку. ("Если враг не сдается, его уничтожают" — Максим Горький, писатель). Герой-интеллигент, пытаясь оправдаться перед читателем за совершенные в прошлом ошибки, и стал поэтому разыгрывать из себя придурка, шестерку, приклатняться под рабочий класс (обратите внимание, сколько авторов самиздата прошлого и нынешнего с гордостью оповещают о своем опыте

ночных сторожей, грузчиков, истопников и лифтеров), которому чужды всякие там высокие идеи и сложные сюжеты (сюжет есть организация героев согласно неким авторским принципам; организация и принципы подразумевают идеологию, а идеологии подобный автор как раз и старается избежать). Герой этот не говорил, а излагал байки — как документальные свидетельства, — не от себя, но своим голосом, а как юридичский и шут, издевающийся над царской речью, протаскивающий антисоветскую мудрость между строк (тогда было еще что протаскивать), наспигованных пародийными партийно-бюрократическими клише в фарсовом сюжете. Но как и в случае "деревенщиков", реставрирующих местные диалекты, приблзняющихся под простой народ, за этой намеренной или невольной пародийностью скрывался все тот же искушенный в политике просветитель, подмигивающий просвещенному читателю реформатор, несостоявшийся политический вождь.

Герой тут определялся не собственными словами, но, опять же, отношением к ним, их идеологической интерпретацией со стороны читателя, когда опостылевшие клише партийной идеологии, идеологического восприятия мира выворачивались наизнанку, уничтожались парадоксальностью контекста и язвительностью подтекста — во имя политической диффамации врага. Поняв, что пародия на систему не разрушает самой системы, отрицая в душе советизмы собственной речи, эти писатели вообще вышли из советского настоящего — кто-то закончил свои дни в "деревенской школе", а кто в эмиграции (как, скажем, Юз Алешковский или Войнович, Владимир Марамзин или, в поэзии, Лев Лосев). Отличие Ерофеева было в том, что он раздавал пародийные тычки и затрецины идеологическим клише в языке с издевательски-печальной миной, с интонацией всепонимающего интеллигента-меланхолика, глумящегося над слабоумными мира сего. Кроме того, метафизика алкогольного восприятия России накладывалась у него на богоульственно-возвышенные имитации слога и тона Библии.

Этого оказалось достаточным для эмигрантского истаблшмента, чтобы предать книгу остракизму чуть ли не на десятилетие — за антирусскую направленность, за надругательство над святынями русской интеллигенции, над "великими традициями и гуманистическими идеалами русской литературы". Недавно в интервью эмигрантскому еженедельнику Эдуард Лимонов сформулировал, почему у него так мало надежд на публикацию в Советском Союзе. Он привел цитату из собственной прозы, где девушка сравнивается с "изжеванной котлетой", и сказал, что подобное высказывание — это человеконенавистничество, в то время как вся российская прогрессивная литературная общественность — за человеколюбие. ("А христианство — тоже не вполне порождение иудаизма: в христианстве нет человеконенавистничества. Ветхий завет, конечно, читать невозможно: смердит" — Аполлон Кузнецов, советский литературо-

вед.) Вера в высокое, помимо Бога, предназначение человечества — трусливая уловка, попытка отыскать оправдание полной бессмысленности (для человеческого разума) и беспросветности нашего бытия, как, впрочем, и склонность во всем выискивать глубокий смысл: скрытое, потайное значение, изнанку, подкладку, подлянку, борьбу добра со злом, историческую жертву; в самых заурядных преступлениях и подлостях, вроде политического доносительства, видеть трагическое начало русского характера, смех сквозь слезы, садо-мазохистское просветление через страдание и вообще "символический символ" (формулировка ленинградского концептуалиста по прозвищу Африка).

И эмигрантский истаблишмент и советский официоз не приняли ерофеевский маршрут "Москва-Петушки" по одним и тем же соображениям: автора тошнило от псевдо-и-сверхдуховности российской литературы и здесь, и там, и со всех трех сторон. Публика была оскорблена тем, что пуританская, стилистически безупречная интонация классической сталинской прозы, как впрочем и ее антисталинского двойника эпохи оттепели, сменилась макароническим макабром, неким языковым озверением, где марксистский жаргон переженился с матерщиной, а евангельские интонации с алкогольным блевом — в делириуме, понятном лондонским панкам, но крайне чуждом для читателей Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

Сейчас, двадцать лет спустя, новое поколение (не по возрасту, а, скорее, по именам) поэтов и прозаиков (Дмитрий Пригов и Всеволод Некрасов, Владимир Сорокин или, в эмиграции, скажем, Александр Зиновьев и Вагрич Бахчанян) довели ерофеевскую трагическую ужимку — чуть ли не гоголевское ощущение позора при каждом интеллигентском призыве — до зловещего абсурдистского несоответствия между внешней декларативной духовностью, идеализмом и возвышенной благопристойностью в мышлении своих героев (так, как это понимается магистральной линией русско-советской литературы), и их совершенно зоологическим, звериным поведением, на словах ничуть не противоречащим тому моральному абсолюту, что настойчиво проповедуется и официозом и инакомыслием.

Лучший пример тому — рассказ москвича Владимира Сорокина "Открытие сезона". Беседа двух героев рассказа, приезжего горожанина и местного егеря, охотников,двигающихся через лес к охотничьей делянке, пародирует прозу советских почвенников и деревенщиков, ревнителей охраны природы и добрых старых обычаев, — при этом стилистически, литературно отсылая читателя к источнику подобных мотивов в русской прозе, к "Запискам охотника" Тургенева. Эта двойная пародийность нивелирует полемический подтекст — автор не издевается над "деревенщиками", он лишь воссоздает некое мышление, следуя солидной литературной традиции. Ненавистная городская цивилизация противопоставляется священной

тишине природы в абсурдистском, на первый взгляд, неожиданном повороте сюжета: вместо традиционного охотничьего манка или ловушки, охотники вешают на елку портативный магнитофон — с песнями полузапрещенного (помесь Высоцкого с Галичем) барда. И зверь тут же бежит на ловца. Зверь этот — заплутавшийся, отбившийся от своих друзей турист-отдыхающий. Тут-то до читателя и доходит зловещая развязка сюжета: два товарища, ревнители природы, охотятся не на рябчиков, а на человек; они — ловцы не душ человеческих, а человечины; они, короче, людоеды-любители. Рассказ заканчивается обстоятельствами и полными лиризма рассуждениями героев о том, какие части освежеванного трупa следует жарить немедленно, а какие оставить напоследок, к ужину. Это уже не моральное лицемерие, это — моральная шизофрения.

Самое поразительное в этом рассказе, повторяю, тот факт, что автор полностью самоустранился: он не подмигивает нам, как Ерофеев, из-за маски пародии, намекая нам, его просвещенным читателям, что за театральной рампой всего этого ужаса, за кулисами, есть иной, разумный, добрый и вечный мир. Существование подобного мира вызывает у нового поколения имен серьезные сомнения. Это поколение политических пессимистов. Какие бы политические реформы ни происходили в обществе, человек слова понял, что его роль в подобных перестройках — роль участника спектакля, активная лишь постольку, поскольку он, как актер, может зажечь своими словами зрителей; но принять участие в зрительском энтузиазме (из актера превратиться в политика) он не имеет права, поскольку это означает, что он должен оставить сцену, лишиться возвышения, избранности, стать одним из многих в многочисленной толпе.

Отделенность сцены от зала, однако, больше не спасает. Театр нашей эпохи, в отличие от сталинской, уже не живет законами "четвертой стены" театра Станиславского; мы существуем в театре Пиранделло, где сцена каждую минуту может продолжиться в зал, и тогда публика превратится в актеров, а актеры станут частью толпы любопытствующих, до того момента, пока не объявят новые границы сцены и можно будет сделать вид, что мы актеры, а все остальные — толпа, пока снова не произойдет очередного перераспределения ролей, и так до бесконечности (поскольку толпа — это сборище людей, где каждый считает, что все вокруг, кроме него, есть толпа).

Этот релятивизм в восприятии зала и сцены не опровергает, тем не менее, претензий театра на объективность, аполитичность, невмешательство. Театр, мол, лишь показывает, демонстрирует картину жизни в сопоставлении слов и жестов, намерений и поступков; театр не берется судить, кто прав, кто виноват, не раздает ни наград, ни наказаний. В театре, где актеры — тоже люди, можно вообразить, что все творится самими людьми, а не сотворено авторами спектакля. "Наша театраль-

ная задача”, сказал московский режиссер Анатолий Васильев, побывавший в Лондоне со своим спектаклем, “не вышвыривать человека с тех позиций, в которых он укрепился, а встать на его место и понять, почему он с этих позиций не желает сдвинуться”.

Эта иллюзия нейтральности и дала, видимо, возможность советскому театру быстрее и серьезнее других воспользоваться плодами нынешней либерализации. Речь идет не только о разрешении на постановку ранее запрещенных произведений, вроде антиреволюционного фарса Михаила Булгакова “Собачье сердце”; не только о появлении на сцене ранее запрещенных характеров, вроде Троцкого, или же сюжетов, вроде Чернобыльской катастрофы. Речь идет о восстановлении в правах целых речевых слоев литературы, будь то тексты пьес Петрушевской, шокирующие ситуации, как у Гельмана, иронические скетчи Славкина и Розовского, или же “прустовская”, балетная эссеистика Вадима Гаевского — без какого-либо морализирования, разоблачения двоемыслия и лицемерия, без срывания масок и протаскивания исторической правды между строк “Правды” — без всего того, что было знаменем театра 60-х годов вплоть до нынешних перемен. (“Тут уже не масоны, а вообще люциферисты действуют. Театром завладели люциферисты” — Валентин Распутин, советский писатель).

Быть и не быть — вот в чем ответ человека слова Гамлету-моралисту.

Разоблачение и борьба с “двоемыслием” в обществе от Орвелла до Солженицына всегда подразумевали надежду на перемены, политический оптимизм. Однако когда “двоемыслие” перестало быть способом выживания и стало образом жизни, когда расщепленность мысли уже сравнима по интенсивности и повсеместности с расщеплением атома в цепной чернобыльской реакции и уже никаких цепей не нужно для поддержания этой умственной расщепленности, — фальшивым стало деление литературы на подпольную и официальную с политической точки зрения. Предыдущее поколение в литературе делилось на официоз и диссидентство по общественно-политическим пристрастиям. Политический пессимизм — это, зачастую, залог оптимизма литературного: гражданский долг из категории необходимости переходит в категорию воображаемого. Двоемыслие политическое, связанное с тенденциями протащить незаметно на публику или, наоборот, скрыть от публики некие “прогрессивные идеи”, для нового поколения в литературе стало сейчас “двоемыслием” в стилистическом восприятии литературного процесса, своеобразным двуязычием литературного мышления.



Согласно Цветаевой, все поэты — жида. Политические меньшинства в литературе сменились меньшинствами стили-

стическими, с точки зрения которых, скажем, шедевр сталинской эпохи "Как закалялась сталь" Николая Островского и антисталинская эпика "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана (произведение, первоначально опубликованное на Западе и сейчас появившееся на страницах советской печати) — литературные близнецы-братья. Современный сочинитель, однако, ни с кем брататься не желает и ощущает себя среди устоявшихся имен-побратимов литературы если не жидом, то уж точно — кузенном (формулировка Юрия Айхенвальда). Конечно же, как всякое национальное меньшинство, полагающее, что именно оно избрано Богом, сочинитель в душе тиран и втайне мечтает, чтобы весь остальной мир безоговорочно принял на веру его видение, его мышление, его литературу — хотя бы на время чтения его книги, его слов. Он, тем не менее, догадывается, что, как ни крути, а он — один на всех путях, а кругом — враждебное окружение, враждебное хотя бы потому, что не говорит на его языке.

Как прорежимная, так и диссидентствующая литературная толпа наших дней (в отличие от традиционной толпы, загонявшей поэта в дорогостоящую башню из слоновой кости) отнимает у поэта право на уединение и настырно претендует на роль посредника между поэтом и Богом. До тех пор, пока до пишущего человека не дойдет, что литература есть сочинительство, а не политическая платформа или кафедра проповедника, орвелловская уединенность "в чреве китовом" будет путаться с одиночеством. Это не значит, что литератор не может стать политиком или проповедником, и наоборот. Это не значит, что литература должна по своим темам быть непременно аполитичной. Просто-напросто, политические или религиозные идеи в литературе — лишь идеи; и идеи эти персонажны, они меняются от сюжета к сюжету, от автора к автору, от поколения к поколению; идеи, короче, есть лишь часть стилистического целого, и они меняются, как меняется стиль жизни любого живого, мыслящего общества. Индивидуалистический по своему духу (литература — моральное оправдание эгоизма) стиль этот противится каким-либо обобщениям, будь то география или политический режим, когда деление мира на демократию и тоталитаризм, соцреализм и авангард, Ложь и Правду (говорить ложь — в этом, порой, и состоит литературная правда) служит оправданием литературного застоя.

У каждого из нас свое молчание и своя гласность. Печально, когда гласность на чужом языке, на языке окружающей тебя толпы, означает, что тебе вновь придется отмалчиваться. Герой-интеллигент стал демонстрировать отсутствие гласности своим исчезновением из литературы, демонстративным молчанием, символическим, конечно, как в свое время, десятилетие назад, символическим был политический протест кучки инакомыслящих во главе с Аликом Вольпиным в Москве, вышедших на пресловутый Митинг Гласности Молчанием (как его называли сами участники). Надо было подойти к памятнику

Пушкина в День Конституции (гарантирующей свободу слова), снять шапку и молчать. Некоторые полагали, что молчать надо, чтобы не поддаваться на провокации органов, а шапку снимать — в знак уважения перед Пушкиным (или, все наоборот). Секрет символики демонстративного молчания той эпохи скоро будет окончательно утерян: герой-интеллигент, по крайней мере временно, обрел дар слова, и уже толпа, а не он, безмолвствует... Мы все надеемся, что дело не закончится людоедством. Проза — это компромисс между интимностью молчания и общественной гласностью, между личным разговором и языком толпы. Писатель по природе своей есть двуязычное меньшинство в толпе единомышленников.

Это "двуязычность" — в смысле противопоставления и существования двух стилей: разговорного и литературного, уличного и салонного, официального и диссидентского, языка толпы и интеллигенции, языка эмиграции и метрополии, — всегда была и остается признаком оздоровления литературы. Мы наблюдали подобную двуязычность в 20-е годы — при метаморфозе дореволюционного русского языка в советский; в Хрущевскую оттепель при рождении самиздата; присутствовали в 70-х годах при паломничестве русской литературы из города в деревню, а затем и в эмиграцию, где прозаик живет в постоянной конфронтации со вторым своим, "иностранном", языком той страны, где он поселился. Ничего особо оригинального в этой ситуации нет, если учесть не только двуязычный опыт, скажем, Тургенева, но и вообще традиционно "переводной" характер русской литературы — от переводов Жуковско-го и Пушкина, ставших частью русской литературы, до дела Баласа Гаяускиса, до сих пор находящегося в сибирской ссылке за переводы Солженицына на литовский.

Реабилитация этой двуязычной природы литературы подразумевает восстановление в правах всех тех жанров и стилей, что считались "малыми", назывались "экспериментальными", "альтернативными" в литературе. Подобное восстановление в правах предполагает, в свою очередь, отказ от иерархического табеля о рангах — по старшинству — в литературе, от некоего имперского разделения литературы на столичную и провинциальную по политической значимости, причем наивно предполагается, что центр литературы там, где центр власти, а не наоборот (трудно назвать Вашингтон литературной столицей Америки). Конечно же, реабилитация литературных меньшинств в русской словесности несравнима с децентрализацией английской литературы на десятки жанровых и региональных (вплоть до языка бывших колоний) литератур. И все же тот факт, что, скажем, в новом самиздатском московском альманахе "Задушевная беседа" соц-артистская поэзия Пригова соседствует с лирической стенограммой распада дружеского общения в стихах Михаила Айзенберга; или появление в европейских переводах прозы, выходящей за рамки традиционного "этнического"

любопытства к русской литературе (от рассказов Татьяны Толстой до эссеистики Александра Пятигорского) — все это свидетельствует о том, что даже на классический вопрос — существует ли одна или две русские литературы (литература метрополии и эмиграции, инакомыслия и официоза), ответить следует: существует не одна и не две, а много литератур. Куда, действительно, причислить романы Вашего покорного слуги, до конца понятные только тому читателю, что знаком с жизнью и здесь и там? ("А те, кто покинул родину, кому безразлична страна проживания, не имеет права ничего предлагать народу" — Аполлон Кузнецов, литературовед).



Тенденция к глобальности, к централизации и генеральной линии в литературе заставляла писателей старшего поколения эмиграции постоянно коситься на Москву; именно поэтому (нежелание быть причисленным к меньшинству) эмигрантская литература предыдущего поколения не пожелала последовать совету Ходасевича и стать "эмигрантской". Исключения, вроде Набокова или Газданова, лишь подтверждали правило; литература, слава Богу, выживает благодаря исключениям. В моем поколении пишущих подобных исключений больше: от эмигрантской конфессиональности Эдуарда Лимона до "заипограничных" миниатюр Игоря Померанцева, или, в поэзии, от уникальной поэтической метафизики двузычного пребывания в Иерусалиме Леонида Иоффе до, уже хрестоматийных, "изгнаннических" циклов Бродского). Вместо того, чтобы понять на опыте, испытать на собственной шкуре новую свободу без розг и привычных внешних врагов, идеологи русской эмиграции тут же выдумали заново и врагов и розги, и, впрягшись со своими советскими братьями по перу в крыловскую телегу прежних счетов о том, кто занимает самую справедливую позицию по отношению к властям, кто живет пол-жид, а кто не пол-жид, очень быстро превратились в брюзжащих, всем надоевших пенсионеров, не отличимых от своих духовных противников в Москве. Пока советские журналы с риском для жизни "пробивали" публикацию поэзии Бродского, эмигрантское "политбюро" организовало на страницах эмигрантской прессы второй показательный процесс над Синявским, кто тюрьмой и сумой добился права публиковаться за границей для каждого советского писателя.

Если судить о достижениях национальной литературы по числу и размаху моральных жертв и духовных банкротств — а именно так и привыкли судить о русской литературе — то прошедшие пару лет следует считать весьма плодотворными. Милость и снисходительность, а кое-когда и прямое потворство как официальных властей, так и советской элиты привели к тому, что ряд тем — от Павлика Морозова и генетики до дела врачей и ГУЛАГа — были растабуированы. Став общедоступными,

эти табу перестали быть и литературой. Они стали достоянием народных масс. Потеряв моральный пафос вопиющего в пустыне, пророчествующего одиночки-обличителя, авторы сочинений на запретную тему обрели, таким образом, массового читателя. Точнее, этот массовый читатель из тайного стал явным, трансформировался еще и в покупателя, превратив, тем самым, автора бывшей "подпольщины" в сочинителя официальных бестселлеров. Я имею в виду авторов эпической прозы на тему "Интеллигенция и власть" в эпоху историко-общественных катастроф: от борьбы правых оппортунистов с левыми уклонистами в сталинские годы, до темы разращения рабоче-крестьянской массы циниками-горожанами из евреев, обтянутых в джинсы, в эпоху брежневского "застоя". Такая дидактика и просветительская линия в литературе ничем не хуже всякой другой; хорошо то, что сейчас она теряет моральное превосходство "единственно верной и потому истинной", находит свое жанровое место, перестает заслонять на сцене другие литературные экзерсисы. Кроме всего прочего, легализация "диссидентских" тем в литературе лишила, наконец-то, искусственного тернового венца тех авторов эмиграции, кто испытывал моральное превосходство исключительно по той причине, что мог безнаказанно рассуждать вслух о превосходстве парламентской демократии над сталинским террором.

Развенчание еще одной "больной" темы в литературе произошло благодаря приоткрывшимся — за последние два года — рубежам между эмиграцией и метрополией. Впервые со времен "сменовеховцев" 20-х годов (а они, в отличие от нынешнего поколения, готовы были присягнуть в лояльности властям), поэт (Иосиф Бродский), сознательно согласившийся покинуть советскую родину, опубликован в советском журнале ("Новый мир"). Имена других эмигрантских авторов старшего поколения (из тех, кто до эмиграции широко печатался в СССР), в том или ином контексте, появляются на страницах советской прессы. Но суть литературных перемен, как всегда, не в устранении цензурных шор, но в сдвигах привычного мышления. Дело в том, что в этом году советские границы открылись для посещения сотням эмигрантов из тех, кто легально покинул в свое время Советский Союз — то есть для большинства эмигрантов "третьей волны". Оставаясь все еще запретной зоной для эмигрантской литературы, Москва, по крайней мере на время, перестала быть потусторонним миром, где мелькают тени и откуда доносятся загробные голоса оставленных друзей; Москва перестала быть метонимией и возвратилась в географию — Железный занавес постепенно истончается до авиабилета. Доступность такого авиабилета в собственное прошлое закрыла целый ряд тем эмигрантской публицистики. Это не значит, что эмигрантский роман как драма разрыва и противопоставления двух миров — прошлого и настоящего в географии, в политике, во времени и в языке — потерял свою актуальность и притягатель-

ность. Скорее наоборот: когда дело сделано, остается время для слов, и эмигрантская тема обретает сейчас чистоту литературного жанра, освободившись от документальной полемичности, апокалиптического пафоса.

Уникальность нынешней ситуации в том, что, впервые за полвека советской истории, писателю никто не мешает не только писать (в стол) все, что ему взбредет в голову, но и печататься там, где ему угодно. Если в наше время он и не печатается за границей, то исключительно по той причине, что предпочитает выжидать, пока его не напечатают в "Новом мире". Конечно же, в "Новом мире" очередь из живых и покойных нобелевских лауреатов (Бродский и Солженицын, Бунин и Пастернак). Конечно же, отсутствие нормального книжного рынка и в метрополии и в эмиграции приводит к фальшивым, непропорционально раздутым репутациям и искаленным неизвестностью биографиям. Важно, однако, то, что опыт литературы в эмиграции становится сейчас понятен и москвичам, а именно: болезненное состояние русской литературы и здесь и там больше нельзя списать за счет происков Главлита и КГБ "там", или же мистического заговора "левых", засевших "здесь", в западных газетах и издательствах. (Сравните идеологический конфликт между журналами "Синтаксис" и "Континент" в эмиграции и, скажем, между "Новым миром" и "Нашим современником" в метрополии). Может быть, впервые литературный процесс в России перестал быть процессом уголовным, и ход этого процесса зависит от состояния умов его участников — не от цензуры, а от само-цензуры. Одной из форм самоцензуры является ложно понятая верность традициям.

Мы все еще не избавились от паспортной системы в литературе, и членство в союзе русских писателей выдается в наши дни с неменьшими, если не большими оговорками, справками и рекомендациями, чем во времена раппов, главлитов, "звездных комнат" и "черных кабинетов". Бывшие узники прошлого (Булгаков и Набоков, Замятин и Платонов, Ахматова и Пастернак и т.д.), наподобие эмигрантов и изгнанников за Железным занавесом, были толпой реабилитированы и возвращены миллионными тиражами в настоящее. Представьте себе состояние английской литературы, если бы на книжных полках одновременно появились до этого запрещавшиеся Джойс и Вирджиния Вульф, Ийтс и Томас Эллиот, Бекет и Эзра Паунд, Олдос Хаксли и Дэвид Герберт Лоренс. Лишь в последние годы английская литература оправилась, наконец-то, от разрушительного влияния джойсовской революции. Аналогичный по разрушительности эффект производят сейчас на советскую поэзию стихи Бродского. Долгим и свободным, английским дыханием строки, почти разговорными гипнотизирующими интонациями, видимой необязательностью рифмовки, он освободил изысканный, но одновременно и жесткий русский стих до таких пределов, что каждый второй тоскующий подросток стал набормо-

тывать слова под Оудена, воображая себя изгнанником в своем отечестве, и даже еврейская картавость Бродского стала модной в российской глубинке. В прозе стала процветать дьяволизация образа Сталина, стилизованного под Михаила Булгакова, а мистический над-классовый синтаксис Андрея Платонова перекочевал в манерный монолог салонного интеллигента; набоковская, стилизованно "эмигрантская" интонация вдруг пробивается у прозаиков комсомольского призыва — точно так же как дос-пасовские коллажи и джойсовский "поток сознания", переоткрытый с опозданием на полвека, залил в свое время берега эмигрантской литературы (от Саши Соколова и Дмитрия Савицкого до Солженицына и Юрьенена — да и сам я тоже не безгрешен, каюсь).

Подобная склонность к стилизации уже опробированных имен — не что иное как невольное стремление к иерархичности и респектабельности. Подобные тенденции всегда были присущи русской литературе и производят столь же комическое впечатление, что и столетней давности спор между Аксаковым и Тургеневым, похож ли Гоголь на Майн Рида или же все-таки на Вальтер Скотта? На нынешней свадьбе русской литературы со свободой слишком много генералов; соседство именитого, увешанного медалями и убеленного сединами гостя заставляет зеленую молодежь почтительно умолкать во время дружеской пирушки или подделываться под именитую солидность званных гостей, уродуя и стилизуя свою речь "под старших" в ходе литературного застолья. Разоблачение изощренной напыщенности подобного застолья — будь то заgrabный мажор Мамлеева или провокационные выходы Владимира Котлярова (Толстого) с его хулиганской "Мулегой" в Париже — явление отградное, какковы бы ни были личные литературные пристрастия.

Существует некая загадочная дистанция, отделяющая личное письмо от страницы романа, дистанция, в пределах и неопределенности которой никто никогда не уверен. Но любому пишущему хорошо известно, что чем меньше эта дистанция — тем свободнее дыхание литературы. Истинное продвижение вперед в литературе — к вольности, своего рода бесстыльности, к наплевательству в отношении литературного приема (литературный прием по определению уже вторичность хода литературной мысли), всех тех условностей, что возвращают повествование во фрак литературщины — "больших" тем и общих идей, вызывающих легко предсказуемый энтузиазм у общественности. Забывается при этом, что, по словам Набокова, "критики не могут отыскать общих идей у конкретного писателя по той простой причине, что конкретные идеи этого писателя пока еще не стали общими". Общие идеи — дело философов, а утверждение идеалов — дело общественных деятелей, а не писателей. Это мы уже выучили наизусть — но пока еще не избавились от какой-то духовной угодливости перед старшими. Мы не настолько узколобы и однопартийны, чтобы требовать от писателя об-

щественных декламаций — но никогда не мешает заручиться страховкой в виде лозунга о единстве культур и связи времен, стилизацией под Платонова или Булгакова (как лет двадцать назад — под Кафку, скажем), цитатой из Набокова, репутацией собеседника вдовы Мандельштама или ученика никому неизвестного прозаика Павла Улитина.

У евреев имя Бога называть запрещено. Может быть поэтому ветхозаветная история Ионы в чреве китовом не обветшала до сих пор не только как общественно-религиозный, но и как литературный документ.

В этот, возможно, один из самых либеральных периодов русской словесности, речь должна идти о реабилитации не просто тех или иных конкретных имен, а целых слоев литературной и разговорной речи, о готовности принять в строгую семью, каковой всегда была русская словесность, чужаков и отщепенцев, принять, если не понять, иное, чуждое литературное мышление, не изгонять из стаи гадкого утенка. И не заставлять случайного пилигрима на каждом повороте дороги превращать мертвые объедки в кукарекующего петуха. Страшна страна, где есть место только чуду, и безнадежна литература, где нет места отщепенцам.

На международной конференции в Лисабоне присутствовало более 70 писателей со всех концов света.

Тема доклада Зиновия Зиника о деполитизации авторской позиции привела по иронии судьбы, как писали газеты "Таймс Литерари Соплемент", "Геральд Трибюн" и "Нью-Йорк Таймс" к яростной политической дискуссии. Представители стран Центральной Европы в ответ на высказывание Татьяны Толстой ("Достоевскому тюрьма не помешала создавать великие произведения. Тюрьма и танки — это как дурная погода за окном") стали осуждать советских литераторов на конференции (Т. Толстую, Л. Аннинского, А. Кима и Г. Матевосяна) чуть ли не как сторонников оккупации советскими войсками восточно-европейских стран.

Бродскому и Зинику пришлось сплотить ряды со своими советскими коллегами по перу против братьев-славян. З.З., высказавшись достаточно резко против концепции Т.Т. о внутренней свободе, заявил тем не менее: "Неужели Т.Т. должна собственноручно захватить танк на Красной площади и отправиться на нем лично освобождать Чехословакию?" Игнорирование советскими литераторами восточно-европейской тематики, как, впрочем, и литературы в эмиграции, объясняется, сказал далее Зиник, скорее географической и политической изолированностью Советского Союза, отсутствием у советских писателей опыта и знания Зарубежья, ощущения единства литератур.

Никакого упоминания о Лисабонской конференции в советской печати не было.

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАТЬ С ЖЕНЩИНОЙ В ЛИФТЕ? И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

РОДИНА: КРАИНА

Ни по кому, ни по чему. Волк волком. Услышишь дрожь в голосе Бунина, Ремизова, когда о родине, и неловко. Что родины у вас разные, не утешает. Раз чувствует язык, как они, то хочется и прочее. Ну разве что отрезок дороги. Самолетом в Салоники. Оттуда утренним поездом через Скопье в Ниш. Из этого славянского уюта, уточненного австро-венгерской законностью, можно отправиться автобусом в горы. Через Княжевац, Заечар к Неготину, Прахово-Пристанищу. Это самый хвостик Карпат. Он выбивается в Сербию из-за румынского кордона. До Княжеваца пассажиры в автобусе сплошь городские. После полезут торбы, за ними лица, вылепленные из глины и мочи, зубы из ракушечника и известняка. По обочинам замелькают бессарабцы в образе цыган. Чем выше, тем зябче. Пот примерзает, как стеарин. Колени стынют. Торба гаркнет: посунься! Жмешься к стенке. Горы на самом деле ближе к космосу: плечо и бедро леденеют. Приметы уловимы. На остановках тоже. В огромных витринах всего дюжина пар обуви. Расставлены вразброс, чтобы замаскировать скудость. Оттого витрины — огромны. На каждом третьем углу — "Ткани", втором — фотоателье, первом — парикмахерская. Да еще мастерские часовщиков: сама интимность. Дома здесь крепки низом. Жизнь вровень с глазами прохожего — в нее можно заглянуть. Если снимки из праховского ателье поменять местами со снимками из раховского, по восточную сторону румынской границы, то клиенты — солдаты, невесты, выпускники — не заметят подлога. От фотоателье, пошивочных, парикмахерских попахивает похоронами. Что-

что, а похороны здесь ценят и любят. Старые могилы в Неготинской Краине — маскарад каменных крестов. У этой игры невеселая завязка. При виде креста рука турка тянулась к ятагану. На крайнякской могиле крест иероглифичен. Так на контурной карте Дунай — это Дунай, если ты зряч. Жесткие условия турецкой игры вызвали к жизни целое искусство. Крест рядится в языческие идолища, римскую колонну, мавританский орнамент, барочный пряник. Вместо аскетичного знака солидарности с усопшим надгробье-ребус, надгробье-узор. Крайнякские кресты весело дурачат турок, турки весело обманываются, крайне весело хоронят. В общем, это всё. Выходить из автобуса не за чем. Не к городу, не к селу, не к местечку, а к отрезку дороги, к стопке горячего бензина где-то между Черновцами, Вижицей, Виженкой и Путилой что-то испытываешь и крепишься, чтобы не стошнило.

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАТЬ С ЖЕНЩИНОЙ В ЛИФТЕ?

Все лучшее — с женщиной. Лежишь под столом и болтаешь. Придумаешь шутку, дурацкую, даже не шутку — белиберду со словами и рукой — она в смех. Волга — рука по бедру — впадает — мимо мыса — в Каспийское — тонет в районе пупка — море. Ладонь в бухте, цепляется за сосок, чтоб не утонуть. А она хохочет, как будто вправду что-то смешное сказал. А я не смешное — единственное. Как мало ей надо, чтобы быть счастливой. И смех ее пахнет белым вином. Подставь рот — да пошире — и косей. Мысли подкашиваются, падают и не ударяются. Батут, что ли? Ну бухта! Больше не могу. И на спине не могу. Снова в смех. Думал, обидится, насупится. Правда, как мало ей надо. А стоит ей выбраться из твоих берложьих на улицу — и улица становится жильем, еще одной комнатой, хоть мебель ставь, тахту косая сажень, скидывай манатки наперегонки и прыгай с мыса в бухту, с места в карьер. И чем уже улица, тем тесней объятья. В Неаполе бы нам жить, в Лейдене. В твое удовольствие. Своего не надо. Только через тебя и получаю. Ну что тебе купить? Билет? В Лейден? Вот — на самолет до Амстердама и еще двадцать гульденов — оттуда поезда в Лейден каждые двадцать минут. Что ж ты гульдену надула? Ты же не звала. Конечно, хочу. Повезло: не албанцем родиться. Привалило: не

русским. И притом говорить по-албански без сучка. И сводить всех румянными арнаутскими плечами. Когда зажмуриваешься, запах острее. Твои так сузились, что зрачков не видно. Натяну бечевку между ними и развешу наши простыни в пятнах всех цветов, в запахах всех оттенков. Неаполя не хватит. Переносицу натерло? Ладно, отвяжу. Что же ты придавила меня, как Испания Португалию? Дон Мадрид, сеньор Лиссабон. Пидоркино горе. Презрительна твоя спина, ладно, снисходительна. Обидно. Счастье обидеться на тебя: не потому что обидеться, а потому что на тебя. Одного хочу, одного и того же, одного и того же. И больше ничего не хочу. Видеть, как ты едешь на велосипеде. Твой шорох усугубляет дождь. Взаимно. Нелепо, что не голландец назвал свой фильм "Похитители велосипедов". Что же ты смеешься? Что в этом смешного? В Неаполь, так в Неаполь. Не у себя, знаешь, как целуется? Почему знаменитый американец писал в парижских кафе? Да потому что неродной язык можно выключить. Извините. Уши на ремонте, на переучете, в лапше. У них в Миссисипи другие поцелуи, потому что их губы произносят другие звуки. А поцелуй — это звук, это... Вот... Поняла? Гуси, гуси, га-га-га. Твоя надкушенная губа — ржавый ранет. И поделом. Мятаж подавлен. Рукой. И еще раз подавлен. Пока не потечет вино. Белое, как смех. Нет. Ты посылаешь ко мне импрессарио. Красное выплеснуто на его бритые щеки. Дуэль. Мой ответ тебе — пуля. Бечевка прострелена. Писатели, которые утверждают, что поэзия выше жизни, всегда красавцы. Их любят, чтобы не сказали. А я: высморкайся в наволочку, всю жизнь буду хранить. Значит, я урод? Что киваешь? Опять хитрость? Думаешь, если поверю, что урод, то поверю, что только ты меня? Верю. Давай друг друга обманывать, обманывать. И я люблю тебя, люблю тебя, люблю, пока ты не ответишь мне любовью. О смилуйся, не отвечай! Попробуй. Попробуй только не ответить! Цены твоим губам не было бы на почте. Мед в их уголках. В моих — горчица. Чем нравятся? Поворотом локтя, загорелой лопаткой. А мы? Поступком. Мнения бесплодны. Коридоры, потолки заляпаны мнениями и сплошь критическими. От героев требовать мыслей, что от олимпийских чемпионов. Нам не простят. Непрошенная, ты еще красивей.

Самое жуткое — с женщиной. В лифте незнакомка напевает песню без слов.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПОЭЗИИ

У поэтов, создавших свой "образ мира", всегда в стихах найдется и слово, и вздох, и тайна, и что поест, и что выпить, и что надеть, и где голову приклонить. Чьим соседом, жильцом или жилищей хочется побыть?

В. Хлебников зазывает в комнату смеха, где слова смотрятся в кривые зеркала и не узнают себя. Крик возвращается к себе "закричалностью", время — "времешом", цепь — "гзи-гзи-гзэо". Взяв билет, в этой комнате можно замечательно провести четверть часа. Можно возвращаться в нее раз в десять лет. Можно привести туда своего ребенка, чтобы он, смеясь, вспомнил свои первые слова. Но жить в комнате смеха нельзя.

У А. Фета можно снять качели. Среди туго натянутых веревок, в ночном полумраке, обхватив гибкий стан подруги, ты раскачиваешься на узкой доске. Ты счастлив, ты красив, но... пора развязывать мертвый узел любви, спрыгивать и возвращаться на полупьяных ногах.

А на дачном крыльце уже ждет Пастернак. Проведем с ним лето. Будем вместе окапывать грядки, собирать грибы, квасить, солить, мариновать, шинковать, настаивать смородиновую наливку. И глазом моргнуть не успеем, как задует, заморосит, заporошит. Пора съезжать. Куда?

В провинцию. Лучше всех провинция получается в книгах для детей. Городок огромен и в то же время очерчен. Городок — игра с правилами. Ребенку, особенно мальчику, не рассказ и не роман, а повесть в самую пору. А раз повесть — значит городок. Как там катается на велосипеде, на каких костылях там расхаживает помидорная рассада, как цепляется за штаны репейник. Этот город деревянный на реке — словно палец безымянный на руке. И чтобы провинция стала поэтической родиной, надо уехать в столицу. Как О. Чухонцев. Но не вечно же в детской повести жить!

А можно хоть у кого-то не пристанище, не убежище, не каморку с красным померанцем и не кухню с примусом да белым керосином, а нормальную квартиру снять? Чтоб не на лето и не на хорошее настроение, и не в расчете на свою ранимость, что сродни чванству, а на все времена года, на жизнь, чтоб с женой миловаться и сына растить, и одному винцо попивать? Чтоб стихи там легко писались, вроде:

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,

С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

А. Фет романтически делится: "На стог сена ночью южной // Лицом ко тверди я лежал". Недоверчивый А. Кушнер сомневается: "Как грузный Фет на нем лежал? Не шевелился?". До А. Кушнера не было в русской поэзии квартиры, дома для жизни. Были жилища для любви, для сговора, для стука в дверь, для экзальтации. А теперь вот своя, отдельная, двухкомнатная появилась, с чайником на плите, скрежетом дворницких скребков за окном. Не проворонить бы ее, не спустить, не заспать. В Третьем Риме — жизни ни на грош. Жизнь — в своей квартире.

ОНТАРЕНКО И АТФЕЕВ

Стоило судье свистнуть, как Онтаренко устремлялся к центру ковра. Ноги и руки становились длиннее, грудная клетка вздувалась, шея набывчивалась. Он обрушивался, как лавина или тропический ливень. Противник попадал в непролазные джунгли, в заросли лиан. Начинался Лаокоон, и Онтаренко был одновременно отцом, сыновьями и змеями. Противнику отводилась эпизодическая роль. Любимым приемом Онтаренко был "обвив". Он запускал свою лиану в прорву между соперников ног, она обвивала чужую голень, Онтаренко прогибался назад до звона в позвоночнике, что-то взлетало, парило, плюхалось. Пантомима завершалась хлопком ладони о ковер: противник молил о пощаде.

Атфеев был из хорошей семьи. Он был похож на актера, прославившегося исполнением Гамлета. Короткие волосы, зачесанные вниз, красиво очерченные залысины, водянистые глаза. Все в его фигуре было показательно: бицепсы, трицепсы, лодыжки. С него можно было рисовать анатомические таблицы. И если у тела бывает культура, то его тело было в высшей степени культурно. Он был физическим комплиментом всему роду человеческому. Побеждал Атфеев всегда "чисто", но не торопился этого делать. Мускулы его напрягались так редко, нога была так экономна, что любое телодвижение — взлет брови, выдох, пережат желваков — становилось событием, и можно было ликовать оттого, что тебе посчастливилось быть свиде-

телем этого события. Но если уж Атфеев заносил ногу, чтобы продемонстрировать классическую подсечку, то в этот миг решались судьбы мира. Каждый член, каждый орган его тела мог в любое мгновение задаться гамлетовским вопросом и отважно решить его. Атфеев не желал побеждать: это было слишком мелко и суетно. Да он и не делал ничего, чтобы победить. Просто победа сама выбирала его, и он, чтобы не показаться высокомерным, почтительно подставлял чело венку.

Жизнь не должна была сводить Онтаренко и Атфеева и не делала этого. Но у судьбы свой нрав. Онтаренко боролся в среднем, Атфеев — в полусреднем весе. В 196... году на первенстве республиканского совета "Динамо" Атфеев завесил на 450 граммов больше нормы. До завершения взвешивания оставалось четыре часа. Тренер накинул на голого Атфеева плащ, вытолкнул его на улицу, поймал такси и рванул на стадион. Там он нанял поливальную машину и в течение трех с половиной часов Атфеев, вцепившись в цистерну, бегал по гаревой дорожке. Сбросил он только 250 граммов в виде пота и соли. Тело его было идеальным и сбрасывать было нечего. Так Атфеев оказался в одной весовой категории с Онтаренко.

На финальную схватку в воскресенье собралась тьма народа: девушки с прической "Бабетта", милиция, КГБ не при исполнении, подростки с горящими глазами. Ждали праздника, ждали трагедии с катарсисом. Лица у всех были одухотворенными и красивыми. Схватка длилась сорок секунд. Онтаренко взлетел, словно это была не борьба, а прыжки в высоту, все оцепенели, его ноги чиркнули, как ножницы, раздался спичечный щелчок, тренер вбежал на ковер и выволок Атфеева. Тренер плакал. Медсестра кинулась к краю ковра и вонзила в Атфеева шприц. На полуголового борца накинули плащ и увезли на скорой помощи. Было тихо-тихо. Трещина ли, перелом — все равно это было оскорбительно.

На этом борцовская карьера Онтаренко и Атфеева кончилась. Первый спился, второй стал тренером, написал несколько книг о самбо и дзю-до. Их тогда было несколько, гениев самбо: солдат-пограничник Анчиашвили, вдохновенный двоечник Виталька Икулин, жлобоватый Арон Оголюбов, самый молодой в республике мастер спорта Валя Померанцев. Где они все теперь? Да и важно ли это? Но как замирали сердца, как перехватывало дыхание, когда в воздухе мелькала лодыжка гения и чье-то тело глухо впечатывалось в маты.

Тимур Кибиров

**ИЗ ПОЭМЫ "ЖИЗНЬ К.У. ЧЕРНЕНКО".
ГЛАВА ПЯТАЯ: "РЕЧЬ ТОВАРИЩА К.У. ЧЕРНЕНКО
НА ЮБИЛЕЙНОМ ПЛЕНУМЕ
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
25 СЕНТЯБРЯ 1984 ГОДА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА "АГИТАТОР")"**

Вот гул затих. Он вышел на подмости.
Прокашлявшись, он начал: "Дорогие
товарищи! Ваш пленум посвящен
пятидесятилетию события
значительного очень..." Михалков,
склонясь к соседу, прошептал: "Прекрасно
он выглядит. А все ходили слухи,
что болен он". — "Тс-с-с! Дай послушать". "...съезда
писателей советских, и сегодня
на пройденный литературой путь
мы смотрим с гордостью. Литературой,
в которой отражение нашли
XX-го столетия революци-
онные преобразования!" Взорвался
аплодисментами притихший зал. Проскурин
неистовствовал. Слезы на глазах

Из Сборника "Задуманная беседа" (Д. Пригов, Т. Кибиров, М. Айзенберг, М. Сухотин, Л. Рубинштейн), который в ближайшее время выходит в издательстве "Синтаксис".

у Маркова стояли. А Гамзатов забывшись крикнул что-то по-аварски, но тут же перевел: "Ай, молодец!" Невольно улыбнувшись, Константин Устинович продолжил выступление. Он был в ударе. Мысль как никогда была свободна и упруга. "Дело так начатое Горьким, Маяковским, Фадеевым и Шолоховым, ныне продолжили писатели, поэты..." И вновь аплодисменты. Евтушенко и тот был тронут и не смог сдержать наплыва чувств. А Кугультинов просто лишился чувств. Распутин позабыл на несколько мгновений о Байкале и бескорыстно радовался вместе с Нагибиным и Шукшиным. А рядом Берггольц и Инбер, как простые бабы ревмя ревели. Алигер напротив лишилась дара речи. "Ка-ка-ка..." — Рождественский никак не мог закончить. И сдержанно и благородно хлопал Давид Самойлов. Автор "Лонжюмо" платок бунтарский с шеи снял в экстазе, размахивая им над головой. "Му-му-му-му" — все громче, громче, громче ревел Рождественский. И Симонов рыдал у Эренбурга на плече скупую солдатскую слезой. И Пастернак смотрел испуганно и улыбался робко — ведь не урод он, счастье сотен тысяч ему дороже. Вдохновенный Блок кричал в самозабвении: "Идите! Идите все! Идите за Урал!" А там и Пушкин! Там и Ломоносов! И Кантемир! И Данте! И Гомер!..

* * *

Ну, вот и все. Пора поставить точку
и набело переписать. Прощай же,
мой Константин Устинович! Два года,
два года мы с тобою были вместе.
Бессонные ночные вдохновенья
я посвящал тебе. И ныне время
проститься. Легкомысленная муза
стремится к новому. Мне грустно, Константин
Устинович. Но таковы законы
литературы, о которой ты
пред смертью говорил... Покойся с миром
до радостного утра, милый прах.



СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| | |
|--|----|
| <i>А. Стреляный (Москва)</i> . Лязг клинков | 3 |
| <i>Уильям И. Одом</i> . Как далеко может пойти советская реформа? | 15 |
| <i>Н. Кленов (Москва)</i> . Что такое перестройка? | 42 |

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

| | |
|---|----|
| <i>Макс Вебер</i> . К состоянию буржуазной демократии в России | 74 |
|---|----|

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| <i>Л. Гиршович</i> . Чародеи со скрипками | 100 |
|---|-----|

В САДАХ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

| | |
|---|-----|
| <i>Зиновий Зиник</i> . Двухязыкое меньшинство | 185 |
| <i>И. Померанцев</i> . Что еще делать с женщиной в лифте и другие рассказы | 199 |
| <i>Тимур Кибиров</i> . Из поэмы "Жизнь К.У. Черненко" | 205 |



Цена номера 65 фр.фр.
Подписка в редакции на 4 номера – 240 фр.фр.
Пересылка за счет подписчика.

ДОКУМЕНТ

14 июня — день массовой депортации
летшей в 1941 году.

СОСРЕДОТВОРЕНИЕ!

В этот памятный день Ленинградский клуб документальной культуры солидарен со всеми, кто вспоминает великие убитых и тех, чьи судьбы искалечены чудовищным режимом. Этот режим теперь повсеместно именуют сталинским. А не слишком ли много "чести" тов. Сталину? Да и так ли это? Не будет ли более точным назвать его пертократическим?

- Кто возвел подвеса на "монархий трон"? — КПСС!
- Кто возвел на "монархий трон" его наследников? — КПСС!

Так стоит ли перекладывать вину на отдельных персонажей, товарищи товарищи? Да и не по-марксовски это-то: уж слишком велика роль отдельных личностей во всей истории вместо извечного, уж самого великого роли масс и такой массовой организации, как наша партия...

На наш взгляд, виновники преступления Сталина и К^о — хитрая попытка его последователей обелить себя и, таким образом, остаться у власти.

- Не партия, да, виновата в терроре, в Сталин...
- Не партия виновата в хозяйственном разорении, а Хрущев...
- Не партия виновата в преступном "застое", а Брежнев...

После суда возможно вернуть статус нашего несчастного Отечества организации, заглянувшей себе только в карманчики, как Сталин, Брэд, Егон, Беря, Ельцин, Лысенко, Брежнев... ?

И еще, в день ПАМЯТИ, пережая свои солидарность со всеми, чьи законные права попраны тоталитарным режимом, мы требуем безусловного восстановления их.

- Свободу народам Прибалтийских республик!
- Свободу армянам Карабаха!!
- Свободу всем политзаключенным!!

Мир — Вам.

Совет ДИСК.

Эта листовка раздавалась 13 июня на митинге неформального объединения "Мемориал" в Юсуповском саду в Ленинграде. Раздавалась свободно, никого за нее не арестовывали, ничему не препятствовали, и это — наглядное свидетельство изменившегося сегодня в Союзе общественного климата.

